

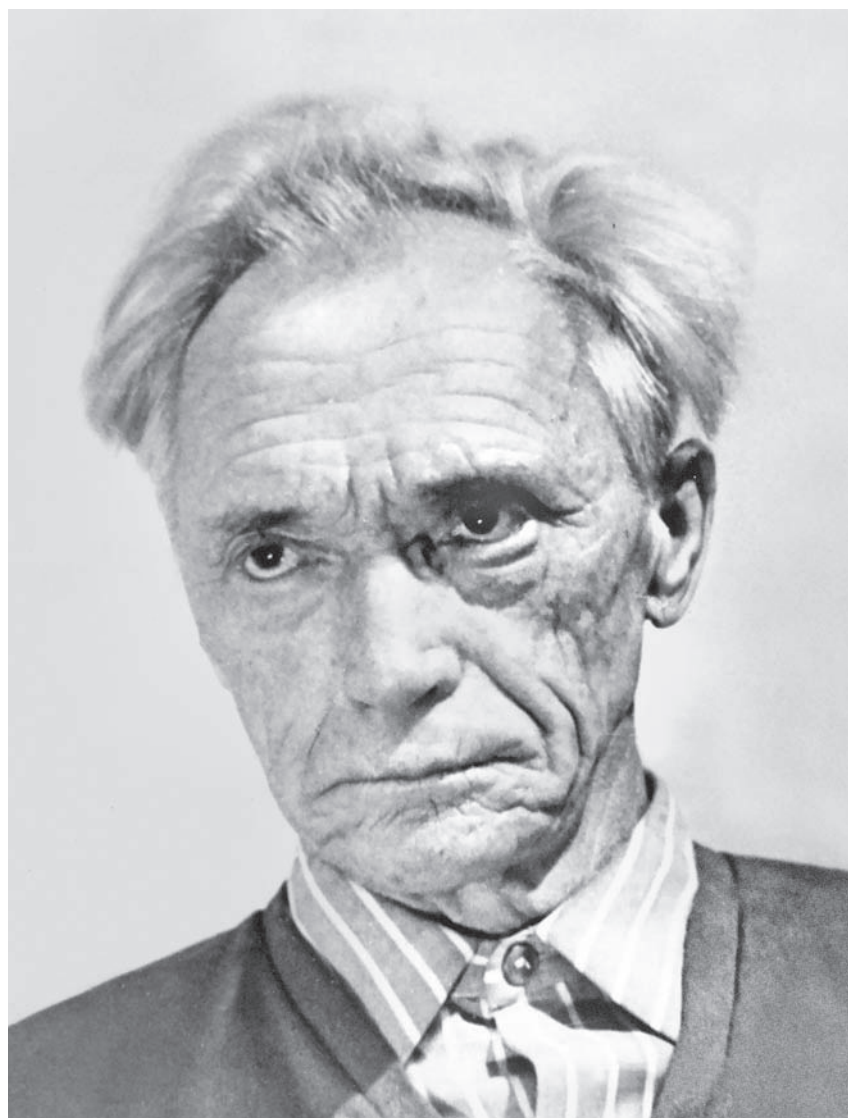
Агафони́ха



М. Кубышкнн

БИБЛИОТЕКА «ПИСАТЕЛИ-ЗЕМЛЯКИ»





Михаил Кубышкин

Агафониха



Болотное
2020

ББК 84(2=411.2)6
К 882

Книга создана при участии
Новосибирской государственной
областной научной библиотеки

Кубышкин М.П.

К 882 Библиотека «Писатели — земляки»: Книга серии Болотнинских авторов «Агафониха». — Новосибирск: Издательский Дом «Историческое наследие Сибири», 2019.— 328 с.

Книга знаменитого Болотнинского писателя, члена Союза писателей СССР, Михаила Павловича Кубышкина знакомит нас с удивительным миром сельской жизни, с людьми необычайной судьбы и созидательного труда. В книге представлены разножанровые произведения автора: прозаические и поэтические, и во всём он мастер жанра, искренний и ответственный.

ISBN 5–8402–0082–4

© Администрация Болотнинского района
Новосибирской области, 2020
© ИД «Историческое наследие Сибири», 2020



ПЕВЕЦ ЗЕМЛИ СИБИРСКОЙ

Михаил Павлович родился 29 сентября 1908 года в бедной крестьянской семье в далекой Пензенской губернии. Закончил всего 3 класса церковно-приходской школы. Детство не баловало будущего писателя:

Что ж, голодное, босое,
Хоть какое, все — равно
Детство — время золотое,
Чище золота оно.

В 1928 году Михаил Павлович с родителями приезжает в село Болотное. Его молодость прошла у нас. Здесь он экстерном сдает экзамен за 9-й класс, заканчивает вечернюю школу, а потом работает сам учителем в сельской школе и заочно поступает в педагогический институт. К этому времени относятся его первые литературные опыты.

Окончить институт не дала Великая Отечественная война. Михаил Павлович в 1942 году идет добровольцем на фронт и не знает, что в журнале «Огневые дали», так в годы войны назывался журнал «Сибирские огни», опубликована его повесть «В Степановке». Эта повесть была написана в первые месяцы военного лихолетья, когда на фронт ушли мужчины, когда женщинам и старикам пришлось взвалить на свои плечи все заботы. Пожалуй, одним из первых писателей, Михаил Павлович показал жизнь далекой от фронта сибирской глубинки, где не рвались снаряды и не свистели пули, где все колхозники жили только одним: «Все для фронта! Все для победы!». Главная молодая героиня повести и в жизни была героиней — это Анна Мальчик,

председатель колхоза им. Ленина д. Степаниха, это на ее плечи легла вся ответственность за колхоз, который за годы войны ни разу не сорвал план поставок продукции на Фронт. В 1948 г. Анна Мальчик за самоотверженный труд была награждена Орденом Ленина.

Были в жизни Михаила Павловича тяжелые боевые сражения, об этом он написал:

Ты был солдат, ты пал в бою,
Лежишь в граве, накрылся каской.
Винтовку длинную твою
Покрыло ржавчиной, как краской.
Теперь весна, теплынь да тишь,
Цветы вытягивают лапки
А ты в шинели, друг, лежишь
И в валенках, и в зимней шапке...

Было ранение, и был плен. Об этом Кубышкин не любил рассказывать. Но в одном своем стихотворении он упоминает эти дороги «невольные»:

Не спится. Подвожу итоги
И вспоминаю разные
Дороги, длинные дороги,
То пыльные, то грязные —
В песке, в болоте и в снегу,
Прямые и окольные,
Все и припомнить не могу,
Невольные и вольные...
Я тем доволен, что с собою
Я ничего не унесу.
Останется изба с трубою,
Останутся пеньки в лесу.
Я не возьму с собою в глину
Ни солнышко и не луну,
И не единую рябину,
И не единую страну.
Все в мире будет так, как было,

И не темней, и не светлей.
И будет новая могила
Могилой только лишь моей.

После войны он работает на стройках Красноярского края, ходит в экспедиции с геологами, работает землекопом на Транссибирской железнодорожной магистрали. И много пишет. Пишет стихи, поэмы, пишет прозу. Новосибирский писатель Владимир Романов в своих воспоминаниях о Кубышкине писал: «В биографических справках об авторе я не встречал ни слова о репрессиях. Однако писатель мне рассказывал, что в Красноярской тайге он был не по своей воле».

Затем Михаил Павлович возвращается в Болотное и начинает работать в районной газете «Путь Ильича» ответственным секретарем. Много ездит по району, встречается с людьми. Ходит по старому Московскому тракту, на котором стоит наш городок.

Долгие годы Михаил Павлович трудился в полной литературной безвестности, но он увлеченно писал о сельчанах, о рабочих, о сибирской природе. И прежде, чем его услышали писатели Москвы и Новосибирска, его услышали в родном городе, узнали люди труда.

В конце 50-х годов в Сибири побывал известный советский писатель Федор Иванович Парфенов (за его трилогией «Бруски» в библиотеках читатели записывались в очередь), он возглавлял в то время журнал «Октябрь». В своих путевых заметках он писал, что Сибирь необыкновенно щедра на народные таланты и в пример приводил Михаила Кубышкина из затерявшегося городка Болотное Новосибирской области, написавшего хорошую, пока не опубликованную поэму о народной судьбе в духе доброй традиции Некрасова и Ершова. Писатель говорил о поэме «Кисельные берега», которая вскоре была опубликована сразу в 2-х литературных журналах — «Сибирские огни» и «Октябрь». В 1961 году она была издана отдельной книгой в Москве.

В этом же 1961 году Михаил Павлович впервые едет в Москву, посмотреть столицу нашей Родины и главное, встретиться со своим любимым поэтом Александром Твардовским, который в то время возглавлял журнал «Новый мир». Приехав в Москву, Михаил Павлович попросил своего знакомого поэта-сатирика Абрама Марковича Арго помочь встретиться с Александром Трифоновичем Твардовским. Во время встречи Твардовский подарил Михаилу Павловичу свою книгу «За далью-даль» с автографом. В редакцию «Нового мира» Кубышкин отдал свою «Сибирскую поэму» и скоро «Сибирская поэма» выходит в «Сибирских огнях» и в «Новом мире» одновременно. Позже выходят его сборники стихов и прозы в центральных издательствах. А в 1962 году Михаила Павловича принимают в Союз писателей, исполнилось ему в ту пору уже 54 года.

Несмотря на суровый внешний вид, Михаил Павлович был очень отзывчивым человеком. Рассказывали, что рядом с ним, на соседней улице жил кочегар вагонного депо, ранее судимый как бывший власовец. Никто с ним не общался. Человек вносил рацпредложения, которые могли бы облегчить труд рабочих депо, но начальство не обращало на них внимание, а кочегара в насмешку прозвали «новатором». Видя, как сосед все больше замыкается, Михаил Павлович однажды пригласил его к себе, угостил шампанским и всю ночь они проговорили о жизни, утром проводил его до дома. Вскоре об этом узнал весь задеповский угол Болотного, и людская злость отступила.

Одним из близких друзей Михаила Павловича был журналист местной газеты Николай Иванович Тельпухов. В своих воспоминаниях он писал: *«Крохотная кухонька... У окна — железная кровать, застеленная красным ватным одеялом. Здесь же стол, за которым творил, а по необходимости и питался Михаил Павлович. Над столом, на простенке, стеллажишко в несколько полок с книгами самых любимых авторов хозяина. Правда, не помню, чтобы он снимал их: не только стихи, но и прозу Горького, Чехо-*

ва, Бунина, Лескова — он цитировал по памяти. Лишь однажды, когда мы долго говорили о жизни и гибели Есенина, он бережно и растроганно взял сразу весь его пятитомник, прижал к груди и взволнованно произнес: «Если бы распахнулась клетка, так бы и заложил его в грудь. Какого гения сжили со света...». Даже одним из любимых музыкальных произведений Кубышкина, по воспоминаниям, был романс на слова С. Есенина «Отговорила роща золотая».

Удивительно то, что Кубышкин одинаково мастерски владеет языком поэзии и прозы. В его произведениях сочетается смешное и трагическое, и автор сочувствует своим героям и по доброму подсмеивается над ними. Читая его рассказ «Агафониха», хочется смеяться и плакать, перед глазами встает наш городок, его вокзал, эта худенькая морщинистая и сгорбленная старушка, и может даже напоминающая своих знакомых, которые были так похожи на эту бабушку из рассказа Михаила Павловича.

Да, вот, только отрывок из этого произведения:

«Бабке Агафонихе не везет. Конкуренция! Оттирают ее от вагонов молодые торговки. Сегодня к трем поездам подбегала и все зря. Хотя бы на хлеб, на конфетки наторговать. Разве Агафониха успеет за молодыми? И кричать, расхваливать свой товар она не умеет, хоть и старается.

Возьмет двумя пальцами мокрый, кривой огурец и через головы других торговок показывает пассажирам, поворачивает его то одним боком, то другим, соблазняет. Знает кроме того. Что и выражение лица у торговки должно быть привлекательное, и Агафониха изо всех сил пытается изобразить на своем темном, сморщенном личике эту самую привлекательность, но ничего не получается. Стешка Шароглазова — звонкоголосая, молодая, красивая, кровь с молоком, — и огурцы у нее нарасхват. А у Агафонихи рука костлявая, черная, жесткая — не рука, а куриная лапка. Нет, не берут огурцы, как не старается Агафониха!..



Бабка вздохнула, подумала, ждать ли ей следующего поезда или домой идти и решила идти. Знобит что-то, хорошо бы на печку залезть.

Проходя мимо сберегательной кассы, Агафониха по возможности ускоряет шаги и сгибается сильней. Робеет. Дело в том, что над крыльцом сберкассы прибита большая картина. А на картине изображена женщина в полинявшем платочке, призывающая всех, в том числе, значит, и Агафониху, хранить деньги в сберегательной кассе. И откуда только узнали, как пронюхали, что у Агафонихи деньги есть? Вот он, чулок, на груди, на крепком гайтане, рядом с нательным крестом. Идет, идет бабка да пощупает: тут ли чулок? Тут! Тепленький! И на душе теплее становится. Спокойно. Уютно. А женщина на картине...что-то не вызывает доверия. Смелая, как Стешка Шароглазова, которая так грубо отталкивает Агафониху от вагонов.

Спешит Агафонизха в подшитых валенках, снег под ногами похрустывает, звенит и порою даже, вроде, повизгивает, как поросенок. Идет бабка и разговаривает сама с собой, думает вслух:

— Трудно, родные вы мои, копейку-то добывать. Трудно! А без нее нельзя, без копейки-то. Хлебушек возьми — копейка. Конфеточек возьми — копейка! А я их обожаю, конфеточки-то. С чайком. Обожаю, грешница! Пахнет от них!...»

А вот короткое шуточное стихотворение «То ли дело — лед колоть» о человеческом характере, с которым мы так часто встречаемся, да что встречаемся — даже и в себе где-то затаились эти черты:

Мы зимою лед кололи,
И Василий говорил:
— Эх, теперь бы, братцы в поле!
Как бы я бы покосил!
Лёд колоть — плохое дело:
Холодно на льду стоять!



Поскорей бы прилетело
Лето красное опять!
Летом мы траву косили
На зелёном на лугу,
И опять вздыхал Василий:
— Нет, я больше не могу!
Не люблю я, братцы в поле
Ни косить и не полоть!
Вот зимой мы лёд кололи!
То ли дело — лёд колоть!

А как ждали читатели нашей «районки» выхода номера газеты с сатирической рубрикой «Дарья Павловна с метлой». Вот, говорят, что в советское время критику зажимали, но если прочитать стихи из этой рубрики, то только диву даешься, как остро и адресно бичевал недостатки в нашем районе Михаил Павлович. Некоторые наивные читатели считали, что действительно существует эта справедливая женщина с острым взглядом, Дарья Павловна, которая ходит по городу, ездит по району и берет на заметку эти недостатки. Некоторые читатели даже писали ей письма с приглашением приехать к ним в село или на предприятие и навести порядок.

«Возле педучилища
Давно стоит машинища
Не могу понять, что это?
Не комбайн и не ракета!
Эксоватор? Так и есть!
Брошенный, бесхозный!
Почему ж такая «честь»
Технике серьезной?
Кто хозяин? ПМК?
Не узнала я пока!
Или нет...постой, постой!
Может быть, того...Дорстрой?
Надо ж технику губить!



Бросили, забыли!
Все, что можно растащить,
Люди растащили...»

Любовью к нашей сибирской земле, к Болотнинскому району дышат произведения Михаила Павловича.

Однажды, к нам в музей попали поистине уникальные документы — архив Михаила Павловича Кубышкина, его дневники, черновики поэм и рассказов, личные документы. Все это представляет для нас огромную ценность, читая его записи, мы видим наш город: его дома и улицы, людей, живущих в Болотном, окружающую природу глазами поэта и писателя:

«Ах, город наш, районный город, город Болотное! Вы усмехнётесь, может быть. Уж если город, то не Болотное, а Болотный! Нет, так и пишется: город Болотное. Было село Болотное, переросло оно размеры села, стало районным центром, и вот Москва назвала его городом.

А мне нравится это название и, я никак не хотел бы его переименовать. Нет и нет! Когда я еду в поезде и слышу голос проводника — Чахлово! Следующая Болотная! — это меня так волнует, так встряхивает душу! Еще бы! Это моя станция, тут есть деревянный домик, куда я в любое время могу войти, раздеться, погреться в мороз около плиты, раскаленной до красна, сесть за стол. Поставить перед собой сковороду картошки с салом, спуститься в подполье и набрать в чашку соленых огурцов, грибов, капусты, в которую втиснуты яблоки. Здесь полки с книгами, весь мир на полках!

*Укрывшись в кабинет,
Один я не скучаю
И часто целый свет
С восторгом забываю.*

— Чахлово! Следующая Болотная! Я подхожу к окну и жадно, сладостно всматриваюсь во тьму. Вот мелькнули

огоньки — это Киселёвка, деревенька такая, в которой я почти 40 лет назад молотил пшеницу — нас тогда посылали туда из школы на помощь колхозу. Мы, ученики 9 класса, спали в нежилой избе на полу, болтали, шутили, днем работали — подавали снопы в молотилку... О, сколько, сколько событий совершилось с тех пор! Где вы. Те, с которыми мы тогда были? Всех разметало время по стране. Никого не соберешь. Кто где. Тот погиб на войне, тот работает где-то, а один теперь преподает физику в Харьковском университете — это был мой ближайший товарищ, это именно к нему я обращался в тридцатом году, составляя стихотворение:

*Закружилась осенняя вьюга,
Вихри листьев в холодном ветру.
Потеряю последнего друга
И последний пиджак изотру».*

Только сейчас понимаешь, как счастливы были люди, которые работали, жили рядом с М.П. Кубышкиным. Это они были самыми первыми читателями произведений автора. А сам автор очень бережно относился к молодым дарованиям. Вот, что вспоминает Олег Бочков, много лет проработавший в нашей районной газете:

«Я знал Михаила Павловича, мне посчастливилось услышать из его уст оценки моих первых виршей. Надо сказать, к начинающим авторам он относился очень бережно, щадил самолюбие, ведь несли к нему стихи различного качества. Потом, когда я пришел работать в редакцию газеты «Путь Ильича», застал там в качестве ответственного секретаря Михаила Павловича. Учиться у него газетному ремеслу — было большой школой...»

В 1966 году свинарка совхоза «Чебулинский» Татьяна Семеновна Игутова была удостоена высокого звания — Герой Социалистического труда. И М.П. Кубышкин пишет поэму «Татьяна»:



Ты очень скромная, простая
Но, как к лицу тебе Звезда!
Звезда Героя золотая,
Как золотой итог труда...

Героями его рассказов и поэм были простые люди, жители больших и малых сибирских сел. В сборниках Кубышкина можно встретить названия сел, некоторых из которых уже давно нет на карте Болотнинского района — Степаниха, Луговая. Любовью к Болотнинской земле рождены эти строки:

Какая глушь зеленая над Обью
В окрестностях деревни Луговой!
Здесь не пугают уток звонкой дробью —
Их тучи на воде и над водой.
Ни говору, ни песен здесь не слышно,
От зелени кружится голова.
Куда ни глянь — повсюду буйно, пышно
Волнуется высокая трава...

Михаил Павлович был женат на Наталье Борисовне Карнеевой, преподавателе немецкого языка и очень талантливой писательнице. В 1953 году в Западно-Сибирском издательстве выходит объемный роман «Школа». Не знаю, как она попала в Сибирь, знаю только по фотографиям, что она была не простого сословия, детство ее прошло в Саратовской губернии, часто ездила к родственникам в Царское село. У Кубышкина и Карнеевой было двое сыновей Алексей и Владимир.

Всю свою душу и силы семья Кубышкиных отдавала творчеству.

На встречу с Михаилом Павловичем в Болотное изредка приезжали писатели и поэты Сибири. Это они, побеспокоились о том, чтобы улучшить условия жизни семьи Кубышкиных и ходатайствовали о выделении квартиры в г. Новосибирске.

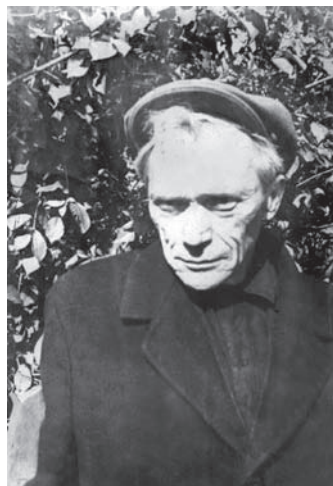
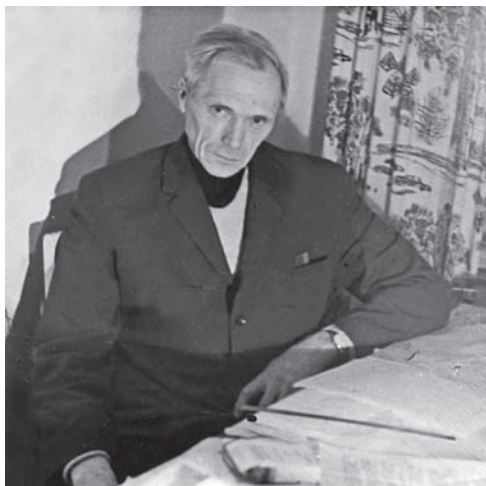
Последние годы своей жизни Михаил Павлович со своей женой Натальей Борисовной Карнеевой жили в Новосибирске. Не дожив несколько месяцев до 75 лет, 11 мая 1983 года скончался член Союза писателей СССР Михаил Павлович Кубышкин, который всю жизнь мечтал, «чтобы на земле цвели сады, а люди пели».

Я стану горсточкой земли,
Родной земли, а не чужбинной,
Над нею плачут журавли,
Ее овеял дух полынный.
И, усыпленный в вечной мгле,
Под шум травы, под свист метели,
Я так хочу, чтоб на земле
Сады цвели, а люди пели.

Тамара Холченко



В редакции газеты «Путь Ильича». Встреча со штатными и нештатными корреспондентами. Второй ряд слева направо: Зварыгин (Лесхоз), В. Романов, О. Бочков, А. Петров (библиотекарь из Чулыма), Первый ряд: М. Кубышкин, С. Савельев, Н. Тельпухов, Я. Рудь (воинская часть). 1960 г.





**Александр Иванович Смердов вручает Кубышкину
приветственный адрес от друзей-писателей. 1968 г.**



Владимир Романов и Михаил Кубышкин



Встреча писателя с активными читателями районной библиотеки



М.П.Кубышкин за рабочим столом



Поэзия



СТИХИ

* * *

Стоят железные морозы.
Сквозь снег их чувствует земля.
Нет под окном у нас березы,
Но есть большие тополя.

Стоят одни другого выше,
Касаясь сучьями избы.

Во время ветра; а порою.
В часы стеклянной тишины.
Наш дым отвесною струею
Доходит прямо до Луны.

* * *

Сели под окошки
Синие синицы.
На дощечке крошки,
Зернышки пшеницы.

Пестрые воровки
Ходят возле хаты.
Провода — веревки,
Свитые из ваты.

Иней. Побелели
 Рыжие лошадки.
 Тополя надели
 Белые перчатки.

* * *

Ночь. Мороз. И тихо, тихо!
 Не слышать собак.
 Воробей и воробья
 Заняли чердак.

Иногда в метель ночную,
 Не кляня судьбу,
 Залезают и в печную
 Теплую трубу.

Там ночуют прямо в саже.
 Грязно — не беда!
 Что поделаешь? Куда же
 Сунуться? Куда?!

Лишь бы спрятаться от стужи,
 Перезимовать,
 А в апреле мойся в луже,
 Радуйся опять.

А потом и май настанет
 В блеске голубом
 И земле на радость грянет
 Первый майский гром.



ПОВОРОТ

Ни снегопада и ни ветра,
Притих разглаженный простор,
И слышно за полкилометра
И смех и звучный разговор.

За перелесками, далеко,
Шумят, как реки, поезда.
О чем-то думает сорока
У прошлогоднего гнезда.

Земля по-зимнему одета,
Но дни становятся длинней.
Воронам и сорокам это
Известно без календарей.

Есть неразгаданная прелесть
В полях и рощицах зимой,
В те поворотные недели,
Когда мороз палит, как зной,

Когда становится жесточе
Он, вероятно, оттого,
Что ночи стали уж короче,
Они — союзницы его.

Что не сумел убить он семя
Под снегом в глубине борозд,
Что солнце выше все,
И время
Работает не на мороз.

ПРИСНИЛОСЬ

В эту зимнюю ночь
 Мне приснилась весна.
 Будто в поле стою на дороге...
 Даль сверкает, прозрачно ясна,
 Нет во мне ни забот, ни тревоги.
 Я гляжу на цветы, на траву.
 С неба вечная песенка льется.
 А увидеть весну наяву,
 Может быть, мне уже не придется.

МАРТ

Холодновато утром рано,
 Но в полдень март свое берет.
 Как на картине Левитана,
 Стоит лошадка у ворот.

Лиловым отливают тени.
 Пост наблюдательный заняв,
 Собака черная на сене
 Сидит в потрепанных санях.

За все хозяйское в тревоге,
 Но, сохраняя важный вид,
 На всех идущих по дороге
 Она внимательно глядит.

Капель горохом сыплет с крыши.
 Проходят долгие часы.
 Вот, наконец, хозяин вышел
 И вытер варежкой усы..



Собака место уступила,
Спрыгнув на снег, вертит хвостом.
И, фыркнув, чалая кобыла
Сначала двинулась шажком,

Сугроб санями распахала,
И в борозде широкой той
На солнце россыпь засверкала
Холодной, зимней чистотой.

Бегут знакомые поляны.
Лошадка на ногу легка.
А вот лошадке Левитана
Стоять века,
Века,
Века!

АПРЕЛЬ

На полях проталины, и снова
К выходу готовы трактора.
Рыжая, как солнышко, корова
Удрала на волю со двора.
Рогом отодвинула задвижку
И, последних не щадя копыт,
Бурно, с выкрутасами, вприпрыжку
Вдоль по грязной улице летит.
Взбрыкивает задними ногами,
Охмеленная сияньем дня,
Разбросала вилами-рогами
Кучку сена около плетня.
А зачем ей сено, если скоро
Все, что надо, будет под ногой?

Полевые пегие просторы
 Сладко пахнут будущей травой.
 Сколько раз в метели и в морозы
 Снились ей в коровнике глухом
 Поле, ветер, пестрые березы,
 Пастушонок с рыжим пастухом,
 Возгласы кукушки беззаботной,
 Кряканье басистых дергачей!
 А кувшинки на воде болотной!
 А в осоке спрятанный ручей!
 Хочется корове бедокурить —
 Повалила старенький забор...
 На дороге сплетничают куры
 И петух пылает, как костер —
 Сноп огня живого, а не птица,
 Папироску можно прикурить,
 От него солома загорится,
 Если до соломы допустить.

ЦВЕТЕТ ЧЕРЕМУХА

Цветет черемуха. Она цветет повсюду,
 Под окнами цветет и у ворот,
 И белую рассыпчатую груду
 Облапил частоколом огород.
 Она спустилась в мокрые овраги,
 Она лога метелью замела,
 Она залезла в черные коряги,
 И там раскинулась, и расцвела.
 Она цветет в гниющих буреломах,
 Она вплелась в петлицы и плетни...
 Шальные дни цветения черемух,
 Мучительные, радостные дни!



* * *

Жизнь подходит к концу,
Но все так же я рад
И теплу и скворцу,
Как полвека назал.

Так же рад я весне
И люблю её свет,
Как тогда, когда мне
Было только шесть лет.

Шорох теплых ночей,
Густо-красный восток!
Самый первый ручей,
Самый первый цветок.

Лес ещё не оброс,
Нет травы возле пней,
Только почки берёз
Уже стали крупней.

Да уже расцвела
Медуница в лесу,
И несётся пчела,
Обгоняя осу.

Шмель летает вокруг
И гудит о весне,
И две бабочки вдруг
Сели на руку мне.

И сидят, разомлев.
Им что я, что пенёк...
Хорошо на земле
В теплый майский денёк!

* * *

Проснулся я. Темным-темно.
 Какой-то гул и шорох слышу,
 Ах, это дождь стучит в окно
 И поливает нашу крышу.
 Сверкнула молния. Потом,
 Спустя секунды три-четыре,
 Обрушился тяжёлый гром
 И раскатил над нами гири.
 Заметно вздрогнула земля.
 В густом, сыром июльском мраке
 Шумят, качаясь, тополя
 И притаились все собаки.

* * *

Летний дождь протопал,
 Прошумел, как град.
 Искупался тополь,
 Мокрый весь, — и рад!
 Всюду тихо стало,
 Только за бугром
 Бухает устало
 Отсыревший гром.
 В каждой луже солнце
 В бездне голубой,
 Лужи, как оконца,
 В дырах шар земной.
 Белые берёзы
 Помнят, как во сне,
 Страшные морозы
 И глубокий снег.
 Белые метели



Так терзали их,
Выли и гремели,
Завивались в вихрь.
Ветви вихрь поднимет,
Дёрнет, как шальной.
А теперь под ними
Просто рай земной.
Ягоды с грибами
Вместе собрались.
Мокрый после бани
Сладко пахнет лист.

* * *

Стелет ночь по дорогам
Мягкий мох тишины.
Засветилась над стогом
Половинка луны.
В поле пусто и глухо.
Перелески молчат.
Лишь кузнечики сухо
Где-то рядом стучат.
Всё пронизано дрёмой.
Ночь надолго легла.
И землёй, и соломой
Пахнет теплая мгла.

* * *

Я стану горсточкой земли,
Родной земли, а не чужбинной.
Над нею плачут журавли,
Ее овеял дух полынный.

И, усыпленный в вечной мгле,
Под шум травы, под свист метели,
Я так хочу, чтоб на земле
Сады цвели, а люди пели!

ПАСТУШИЙ РОЖОК

Постигли люди всё на свете
И в космос сделали прыжок.
Но всё, как раньше, на рассвете
Звучит пастушеский рожок.

Трубит пастух, за ним подпасок
Идёт с классическим кнутом.
Какое утро! Сколько красок
У нас рассыпано кругом!

Клубничный цвет и земляничный,
А вот почти с кулак цветок,
И одуванчик, как яичный,
Вкрутую сваренный желток.

Тростник склонился над водою,
И гусь плывёт со всей семьёй,
И — небо, небо голубое
Над круглой, выпуклой землёй.

НАПЛЫВАЕТ ВЕЧЕР НА БОЛОТНОЕ

Наплывает вечер на Болотное,
Дует ветер, тёплый и сырой,
Над землей столпились тучи плотные,
И летят с них капельки порой.



Ощущая приближенье осени,
Пожелтели тыквы, огурцы,
А скворцы скворечники забросили —
Улетать готовятся скворцы.

Зори и холодные и грустные,
Ночи всё темнее и длинней,
И сидят во мгле вилки капустные,
Словно стаи голубых гусей.

ОТ ЗАРИ И ДО ДРУГОЙ ЗАРИ

Видно, я напрасно время трачу.
Зря испортил общую тетрадь.
«Не жалею, не зову, не плачу», —
Хоть убейся, мне не написать.
Почему? Вот в этом-то и тайна!
Я о том лишь написать могу,
Как зерно отвозят от комбайна,
Как сгребают сено на лугу.
Чтоб лощины выкосить до былки,
Спозаранку вышли косари,
И гремят, гремят сенокосилки
От зари и до другой зари.
За берёзами и за кустами
Целый день моторы тарахтят.
Вышитые всякими цветами
Травы — словно праздничный наряд.
И растут скирды и копны сена,
И лежат рядки — строка к строке.
Это что: ромашки или пена
На парном, на теплом молоке?

НА СЕНОКОСЕ

Какая глушь зелёная за Обью
В окрестностях деревни Луговой!
Здесь не пугают уток звонкой дробью —
Их тучи на воде и над водой.
Ни говору, ни песен здесь не слышно,
От зелени кружится голова.
Куда ни глянь — повсюду буйно, пышно
Волнуется высокая трава.
В болотце мокнут старенькие сети,
На камыше настоена вода.
Идёшь...
Всё то ж...
Да есть ли что на свете?
Да есть ли книги, ноты, города?..
Здесь не дремли, маши косою упорней,
Всё время двигайся и двигайся, не стой,
А если встанешь — ноги пустят корни
И обрастёшь ветвями и листвою.
Смешные молодые куропатки,
Не вняв урокам старых матерей,
Рискованно играют с нами в прятки, —
Забьются под осоку и пырей,
Сидят, молчат, от нас спасая жизни,
Но под травой находит их коса,
И ахнешь вдруг, и на ромашки брызнет
Густая, тёплая и красная роса.



* * *

Ветер спит. Отдыхает. Устал.
Не шумит. Не гудит. Не хлопочет.
Ни единого в поле куста
Беспокоить не хочет.

Копит силы для будущих дней,
Чтобы сделать большую работу:
Надо сбросить листву с тополей
И с черёмух сорвать позолоту.

Ветер спит. Отдыхает земля.
Призадумалось поле пустое.
Спят черемухи. Спят тополя.
Спят берёзы и яблони — стоя.

ЧТО ТАКОЕ БАБЬЕ ЛЕТО?

Что такое бабье лето?
Лес вдали — сплошной янтарь.
Каждый лист — источник света.
Каждый кустик — как фонарь.

Это вышитое ими
Солнце! Солнце потекло
Ручейками золотыми,
Но утратило тепло.



* * *

Летят оранжевые листья
И уплывают по реке.
А вот рябиновые кисти
Останутся в моей строке.

Рябина спрячется в страницы,
Здесь навсегда найдет приют,
Ни снегири и ни синицы
Её в тетрадке не склюют.

Зимой возьму тетрадку эту
И разверну её — а в ней
Остатки осени и лета —
Тепло рябиновых огней.

А если до зимы я сгину,
Так что ж? Останется тетрадь,
И может в ней мою рябину
Любой и каждый отыскать.

Нет на моих страницах моря,
Но есть болото и река,
Но есть малиновые зори,
И ветер есть, и облака;

А вот, забравшись на ограду,
Торжественно поёт петух.
Неторопливо гонит стадо
Через мою тетрадь пастух.



Он в грязной, ветхой телогрейке —
К чему форсить перед скотом?
И не играет на жалейке,
А только хлопает кнутом.

Порой ругается невнятно.
Устал пасти коров пастух.
И он теперь, вполне понятно,
Ждёт не дождется белых мух.

* * *

Раз пятнадцать менялась погода,
Брызнет солнце — и дождик опять.
От четвертого времени года
Можно всё — даже снег ожидать.

Засветилась листва, пожелтела,
Ветер листья швыряет в окно,
Добирается стужа до тела,
Прошибает любое сукно.

Тучи толстые ходят над нами —
Сгустки холода, сырости, тьмы,
Пахнет севером — тундрой, льдами,
Но ещё далеко до зимы.

Но в запасе у нас бабье лето
И в резерве отлёт журавлей.
Будут дни ещё, полные света,
И теплынь полнолунных ночей!

* * *

Насупилась осень сырая,
Отправив на юг журавлей,
И густо на крышу сарая
Свалилась листва с тополей.

За окнами, на частоколе
Синички стеклянно звенят.
Черемуха плакала, что ли?
На ветках-то слёзы висят!

А в поле пойдёшь — ни единой
Нигде не увидишь души.
Увидишь берёзу с осиной
Да, возле воды, камыши.

Увидишь пласты чернозёма,
А дальше, за зябью, кругом
Везде золотая солома
Блестит на жнивье золотом.

* * *

Окрепшие скворчата
Повылезли на свет
И сразу же куда-то
Исчезли. Нет и нет!
А с ними улетели
И старые скворцы.
Когда забронзовели
На грядках огурцы, —
Явились, прилетели



Проведать свой приют
И так же, как в апреле,
Поют, поют, поют.
Поют о том, что лето
Проходит, вот беда,
Что меньше стало света
И крепче холода.
И с домиком скворчиным
В развилине сосны
Прощаются чин чином
До будущей весны.

МЫ ЛЮБИМ БОЛОТНОЕ-ГОРОД

Невыносимо жаркий, длинный, длинный день
Течёт по тополям прохладно-влажным.
И ничего, что старенький плетень
Соседствует с домищем двухэтажным.

И что растут местами лопухи,
А возле них высокая крапива,
И что поют в Болотном петухи
Свободно и подчёркнуто красиво.

Мы любим город наш таким, каков он есть,
Его бугры, да и его низины.
Черёмух и рябин затейливую смесь,
Его ларьки, киоски, магазины...

...В промкомбинат, в вагонное депо
Идут девчата, молодые парни —
На мясокомбинат, в сельпо, в горпо,
На стройку и в хлебопекарню.

Художники, Шутяев и Егоров!
 Рисуйте вдохновенней и смелей
 Подсолнухи у низеньких заборов
 И наших самых будничных людей!

Вот каменщик кирпич за кирпичом
 Бросает на раствор, а сам сторел от зноя,
 Стена растёт, и каменным плечом
 Поддерживает небо голубое.

Строитель видит с высоты своей
 В июльском нестерпимом блеске
 Размах зелёных, голубых полей
 И ягодно-грибные перелески.

И думает о том, что в выходной,
 Как Лев Толстой на репинской картинке,
 Он сбросит надоевшие ботинки
 И всласть походит по земле родной.

ЛЕТНЕЕ УТРО В БОЛОТНОМ

Всю ночь на севере алела
 Зари июньской борозда
 И, как обычно, то и дело
 К нам прибывали поезда.

И прибывали. И отсюда
 На запад шли и на восток...
 Вот развалилась ночи гряда,
 Заговорил с листком листок.



Коров и коз погнали в поле.
Проснулись рано пастухи.
День петуха сегодня, что ли?..
Так разорались петухи!

Поют, гудят, не умолкая:
И здесь поют, и там, и там...
Заря-то красная какая
Раскинулась по облакам!

К чему бы это? Не к дождю ли?..
Дождей, как видно, и не жди.
А, впрочем, может быть в июле
На нас прольются все дожди?

А запах, запах от полыни!
Да это что ж случилось с ней?
Как будто яблоки и дыни
Лежат в полыни у плетней!

ПЕЙЗАЖ ЗА БОЛОТНЫМ

А посмотрите где-нибудь
Пейзаж за городом Болотным:
Не уступает он ничуть
И левитановским полотнам!

Стан у одной берёзы толст
И, как подсолнечник, другая,
Но так и просятся на холст
И старая, и молодая.

Вот, вижу, рощица, а в ней...
 Невероятно, словно в сказке,
 И листья спелые с ветвей
 Текут, как масляные краски.

Чернеет вспаханная зябь
 За белоногой стройной чашей,
 И разлилась по зяби рябь
 Листвы румяной и хрустящей.

Полями хлебными идёшь...
 Стерня и та — источник света.
 Вот это осень! Впрочем, что ж?
 Такое наше бабье лето!

ОТВЕТ НА ВОПРОСЫ

Какому святому поставить бы свечку,
 Кого день и ночь умолять
 О том, чтоб поэмы мои шли не в печку,
 А все — до единой — в печать?

Молились поэты кудрявому Фебу,
 И белый крылатый Пегас
 Носил их, поэтов, под самое небо...
 Кому же молиться сейчас?

Вот так я роптал, раздувая тревогу,
 И зыкнул мне голос в трубу:
 — Молись, поклоняйся единому Богу -
 Творцу человека — ТРУДУ!



ХИТРЫЕ ПРОНЫРЫ

Листаю жёлтые страницы.
С черёмух льётся жёлтый лист.
И жёлто-синие синицы
Опять откуда-то взялись.

Куда вы летом улетали
От наших окон и кустов?
Что увидали, что узнали
За время летних отпусков?

Какие хитрые проныры:
Хлестнула осень по лесам.
И вы — на зимние квартиры,
Опять сюда, поближе к нам?

Чем ближе к окнам, к добрым людям,
Тем дальше от лихой беды?
И мы вам рады. Мы вам будем
Зимой подбрасывать еды.

Такое славное соседство
И нам на пользу, не на вред.
Вы возвращаете нас в детство
На склоне наших зим и лет.

ПОДВОЖУ ИТОГИ

Не спится. Подвожу итоги
И вспоминаю разные
Дороги, длинные дороги,
То пыльные, то грязные —



В песке, в болоте и в снегу,
Прямые и окольные,
Все и припомнить не могу,
Невольные и вольные...

Я тем доволен, что с собою
Я ничего не унесу.
Останется изба с трубою,
Останутся пеньки в лесу.

Я не возьму с собою в глину
Ни солнышко и ни луну
И ни единую рябину,
И ни единую страну.

Все в мире будет так, как было,
И не темней и не светлей.
И будет новая могила
Могилой только лишь моей.

ПОЛЕВЫЕ ПТИЧКИ

Они в любые времена
Труду слагают гимн хвалебный.
Благославляя семена,
Благославляя колос хлебный.

В войну под грохот батарей,
Свив гнёзда на переднем крае,
Они искали для детей
Червей, под пулями летая.



Когда по утренней росе
Шли наши из ночной разведки,
Овсянка пела об овсе,
Качаясь на полынной ветке.

Гремел орудий грозный гром,
А дергачи и перепёлки
Кругом гремели о другом -
О сенокосе, о прополке.

И видел мученик-солдат
В бою, в походе, на привале...
Как сквозь огонь, и дым, и чад
Белеют гречневые дали.

ПУТЕВОЙ ОБХОДЧИК

Стоит пора коротких дней.
Морозы — тридцать да четыре.
Длиннейшая из всей ночей
Заволокла снега Сибири.

А ветер — выплещет глаза...
По магистрали по сибирской
Летят, как птицы, поезда:
То таварняк, то пассажирский.

Цепочкой огненной — экспресс,
За ним — состав с таёжным лесом
Прогрохотал, во мгле исчез,
Равняясь скоростью с экспрессом.

Они летят в кипящий снег,
 Вверяясь рельсам беспредельно.
 ... Идёт по шпалам человек
 Во мгле морозной и метельной.

Стучит по гайкам молотком,
 Рожок засунув под фуфайку,
 И длинным гаечным ключом
 Сжимает брякнувшую гайку.

Он изучил за двадцать лет
 Все интонации металла.
 За двадцать лет, и спору нет,
 На рельсах всякое бывало.

Вручали год тому назад
 Ему за бдительность награду,
 А он и рад был и не рад:
 Нет никаких наград не надо!

Что пережил, что перенёс,
 Едва предотвратив крушеньё!
 Такой же был в ту ночь мороз,
 Снегов такое же кипенье...

Как он с петардами бежал,
 И вдруг дыханье захватило,
 Забилось сердце и упал.
 И как неведомая сила
 Оторвала его от шпал.

...Он вспоминает случай тот,
 Ему и радостно, и жутко.



И, завершив ночной обход,
Он входит, вздрагивая, в будку.

Снег отряхнул, и на часы
Глядит сквозь мокрые ресницы,
И трёт холодные усы
Холодной жесткой рукавицей.

Из кружки чай горячий пьёт.
На серых валенках калоши.
На стенке радио поёт.
Певцу захлопали в ладоши.

* * *

В свежей зелени древесной,
Вызывая дрожь,
Опускается отвесный
Тихий тёплый дождь.

С визгом носятся ребята,
Принимая душ.
Брызги, словно лягушата,
Прыгают из луж.

И коровьими глазами
Крупных пузырей
Лужи с пенными краями
Смотрят на детей.

* * *

Алый гриб стоит, как чашка,
Или рюмочка — и вот

Из гриба лесная пташка
Дождевую воду пьёт.

Пришвин гриб такого рода
Видел много лет назад...
Что ты делаешь, природа?
Это ж явный плагиат!

* * *

В Сибири мало ли чудес?
И не забавно ль это:
Вчера медведь в трамвай залез
И ехал без билета.

Он ехал к брату, говорят...
Брат служит в зоопарке,
И вёз в корзинке брату брат
Таёжные подарки.

Грибов немного засушил,
Набрал кедровых шишек,
И очень, очень насмешил
В трамвае ребяташек!

* * *

Как не совестно Маринке!
Ах, какая срамота!
Сливки выпила из кринки,
А сказала на kota.

Ни за что kota побила
Бабушка сердитая,
И Маринка приуныла
Хуже, чем побитая.



Но доверчиво к Маринке
Приласкался рыжий кот...
Отчего у ней слезинки,
Он, конечно, не поймёт.

* * *

Набросали хлебных крох
На снегу у тополя.
Воробей глядит — подвох,
Самого б не слопали.

За углом кошачий писк,
Но нутро голодное,
И схватил он крошку,
Риск — дело благородное.

ГОРОДСКИЕ ЧЕТВЕРОСТИШИЯ

1.

Город наш морковным соком пАрит,
Хлебом пахнет каждое жильё.
Всяк кулик свое болото хвалит,
Хвалим мы Болотное свое.

2.

Город наш! Какой ты город?..
Ты не город, а село:
Раз тебя под самый ворот
Синим снегом занесло!



ПОЭМЫ

СИБИРСКАЯ ПОЭМА

Косить траву, рубить дрова
Себя всегда заставить можно,
А у стихов свои права,
А со стихами дело сложно.
Не пишется, хоть ты умри!
Бесплодна творческая мука.
Составишь за ночь строчки три
И бросишь в печку.
Вот так штука!
И, охладев совсем к перу,
К столу,
К чернильнице,
К тетрадке,
Я одеваюсь,
Лом беру,
Кувалду, клин и две лопатки.

Оставив бесполезный спор
С высокомерным Аполлоном,
Пойдем на ветер, на простор,
К березам, галкам и воронам,
Где аппетитно, словно хлеб,
Кусает землю экскаватор,
Где пахнет от широких щеп
Смолою, ягодами, мятой.



Туда, где звонки голоса,
Народ горластый, энергичный,
И нарумянены леса
Пыльцою тонкою кирпичной.
И этот самый Аполлон
Посмотрит с завистью, быть может,
С Парнаса спустится и он
И нам от всей души поможет.

* * *

Цепочкой, двадцать человек,
Шагаем вслед за бригадиром.
В окрашенный зарею снег
Мы как бы вкраплены пунктиром.
Степь размахнулась широко,
Мы в некоем центре, до Урала
Отсюда так же далеко,
Как до священного Байкала.
Грохочет поезд. Длинный дым
Косою тянется к березам
И тает в поле. Скоро им
Здесь не дымить уж, паровозам.
Их
Работяги так зовут
С насмешкой явной:
— Дымовозы! —
По той причине, что и тут
Весной пойдут электровозы.
Вот мы и строим корпуса
Распределительных подстанций,
Январь, но утром небеса
В весеннем, мартовском багрянце.
Поспели ягоды зари
И осыпаются в лощину.



Малиновые снегири
Их подбирают, как рябину.

* * *

Всё очень просто на бумаге.
Четыре строчки — дом готов,
А в жизни
Кочка с работяги
Порою стонит семь потов.
Пробили первую траншею,
Врубались в землю до колен,
До пояса, затем по шею,
Касаемся локтями стен.
Подходит поезд пассажирский,
За окнами десятки глаз,
Народ проезжий, не сибирский,
Глядит внимательно на нас.
А нам неловко, даже стыдно,
Хоть заслони глаза рукой,
Поскольку техники не видно
На нашей стройке никакой.
Да уходи же ты, не мешкай,
Чего стоять здесь пять минут,
И не гляди на нас с насмешкой,
Придут машины к нам, придут!
Покуда нечего им делать,
Потом наступит их черёд,
Земля в мороз зачугунела,
И экскаватор не берёт.

* * *

На голову стального клина
Кувалды тягостный удар!



Пудами отлетает глина,
Валит от Климa теплый пар,
Намокла синяя рубаха,
Его лицо горит огнём,
И снял он шапку Мономаха,
Как мы шутя её зовём.
Недели две по вечерам,
Перед началом главной стужи,
Кроил и шил он шапку сам,
Мех изнутри и мех снаружи,
Такой сработал малахай
Неповторимый, уникальный, —
Надень поглубже и катай
На север самый, самый дальний.

Составы с лесом золотым
Гремят на запад. Вот так брёвна!
На эти брёвна дядя Клим
Глядеть не может хладнокровно.
За них бы — в воду и в огонь!
Зацокал языком, заохал.
— Эх, дали бы вон тот вагон!
Какой бы дом себе я отгрохал!
Когда, сойдясь на перекур,
Сидим вокруг огня и дыма,
Наш бригадир и балагур
Разыгрывает дядю Климa.
— Бригада наша стать должна
Коммунистической, а дядя...
Ну, для чего и на рожна
Такого нам держать в бригаде?
Он собственник! И плюс к тому,
Не учится в вечерней школе!
Или хотя бы на дому
Он занимался чем-то, что ли!

Работник мощный, не секрет,
Но вот — не ладит с просвещеньем!
— Дык мне ж —
Полсотни с лишним лет! —
Вопит Климентий с возмущеньем.
— Пристал ко мне! Подумай сам:
Учиться можно мне, нельзя ли?
Я плохо вижу! По глазам
И на войну меня не взяли!
— Положим, так. Ну, а в кино
Не ходишь по каким причинам?
— В кино я был не так давно,
Восьмого марта, с Катериной.

Ну вот и смех, и смех на всех,
А смех — он греет, словно мех.

* * *

Дымят проталины в апреле,
Ручьи звенят, как бубенцы,
И с теплым ветром прилетели,
Вы догадались уж, — скворцы.
Из пухлой мякоти пелёнок,
С завалинки, в полдневный час,
Впервые слышит их ребёнок,
А нянька-дед — в последний раз.
А впрочем, может быть, в запасе
Пятнадцать вёсен у него,
И он пока о смертном часе
И знать не хочет ничего.
Видал он много в этом мире,
В годах старик, в больших годах!
Сама история Сибири
Сидит с младенцем на руках.



Степные люди безбороды,
Бород не носят города,
В глухой тайге в глухие годы
Росла такая борода.
Её зовут патриархальной,
Иные даже театральной, —
Он в ней, в дремучей, как в дыму.
Московский тракт
И звон кандалный,
Конечно, памятен ему.
То время помнит старичина,
Когда неведомой тайгой
Бежал бродяга с Сахалина
Звериной узкою тропой.
Тогда гуляли тут медведи
И громоздился бурелом.
Из звонких брёвен, как из меди,
Слил сибиряк вот этот дом.
Попробуй, обними руками
Смолистый, самый нижий кряж!
Под каждый угол — глыбу-камень
Вкатил герой косматый наш!
И, может быть, когда-то Чехов
Чайком погрелся у него,
Сибирью каторжной проехав,
А дед не ведает того.
И, может быть, во время оно
В какой-то день,
В какой-то час,
В окне опального вагона
Он видел Ленина как раз!
И если видел ненароком,
То лишь одно подумать мог,
Что это —
Ссылный с неким сроком,



А остальное — невдомёк.
И невдомёк, что этот ссыльный,
С прищуркой глядя на пустырь,
В то время видел уж Всесильной,
Свободной, светлой, изобильной
Преображённую Сибирь,
С её целинными хлебами,
С её молочными стадами,
С её фруктовыми садами,
С её электропоездами
В кипящей каше зимних выюг,
С её огнями, городами
И Академией наук.

* * *

Поют скворцы, кудахчут куры,
Распетушились петухи,
Поют девчата-штукатуры, —
Всё так и просится в стихи:
Весь мир окрестный многогранный
И на скрещении дорог
Одноэтажный, деревянный,
Районный древний городок,
Поля в лиловом тёплом блеске
И разговорчивый ручей,
Берёзовые перелески
И деловитый гвалт грачей,
И те монтажники, ребята
По восемнадцати годов,
Которые, как акробаты,
Висят на нитках проводов,
На синеве небес чернея
Комочками и там и там, —
Так от Оби до Енисея



И доползут по проводам!
Вздыхает шапкою качая,
Наш рыхлый, грузный дядя Клим:
— Аж страшно! Высота какая!
И неужель не страшно им?
Смотри, он делает там что-то...
Соединяет провода!
Нет, на такую-то работу
Я не пошёл бы никогда!

* * *

Бульдозер грудью грудит глину,
Грузовики и там, и тут,
И про уральскую рябину
Девчата на лесах поют,
В густое месиво раствора
Вонзая тонкий мастерок;
Ритмично вторят им моторы
И подпеваает ветерок.
От пыли от кирпичной алый.
Подвозит камни,
лес,
металл, —
Короче — стройматериалы
Видавши виды самосвал,
Кругом побитый и помятый
И поцарапанный кругом, —
Его один шофёр проклятый
Чуть не угробил под хмельком.
Кряхтя и охая от грузов,
Предупредительно трубя,
Он цепью о железный кузов
Жестоко лупит сам себя.
А забурится, а потонет



В грязи весенней, полевой, —
Мотор рыдает, воеет, стонет
И негодует, как живой.
И вновь летит такая глыба,
Колеса грязного грязней...
Скажите, лошади, спасибо
Стальным конягам наших дней!

Руке девической послушный,
Трудится тихий великан,
Железный и полувоздушный,
Эмблема строек на них —
Кран.
Он — на одной ноге,
Как цапля
В сухом болотном тростнике,
И тонна груза — это капля
Его единственной руке.

Теперь — совсем другое время!
Удвой, утрой стоянки срок,
Гляди на нас глазами всеми,
Экспресс «Москва — Владивосток»!
Нам далеко до Енисея,
Площадка здесь невелика,
Но всё ж в сибирской эпопее
Необходимая строка!

Неугасимое светило
Вошло в строительный задор,
Вмешалось в дело —
И вмесило
Огонь лучей своих в раствор.
Виднее солнцу с расстоянья
Дела людские, что к чему,



А светлый пафос созиданья
Кому ж и знать, как не ему!
На языке, понятном людям,
Оно сказать могло бы так:
— Я с теми,
Кто на стройках буден,
Кто славит солнце, а не мрак,
Кому лицо планеты мило
В садах, в цветах, а не в золе.
Я знаю всё, что есть и было,
И всё, что будет на земле!

* * *

В нагую рощицу синица
Переселилась из села,
И под берёзой медуница
Заголубела, зацвела.
Кипит весна. А рядом с нами,
Сползая с влажного бугра,
Пятилемешными плугами
Пластают землю трактора,
Вздымают глыбы чернозёма,
А глыбы жирного жирней;
Под них ложатся, как солома,
Обломки солнечных лучей.
Когда взошли по косогорам
Посевы гречки и овса, —
От стен убрали мы леса,
Заляпаные сплошь раствором.

* * *

В вагоне — музыка и пенье.
Остановились мы, глядим.

— Вот молодое поколение!
Что вытворяют! — молвил Клим. —
Не знают никакой заботы,
Играют, пляшут да поют!
Приедут — им дадут работу
И общежитие дадут!
Они выходят из теплушки,
Толпа ребят, толпа девчат,
А им сибирские кукушки
«Добро пожаловать» кричат.
А наша дружная бригада
Как будто чуточку горда,
Что за романтикой не надо
Нам отправляться никуда,
Что нам завидуют немножко
И туляки, и москвичи, —
Сибирь у нас и под окошком,
И на дворе, и на печи.
— Далёко ль едете, девчата?
На целину?
— На целину!
— Идите к нам, дадим лопаты!
У нас работы хватит! Ну?!

Ликующее поколение
С цветами кинулось в вагон,
Материал для размышленья
Дает нам каждый эшелон.
— А что? Наглядная картина!
Произошёл переворот!
К земле, кормилице родимой,
Поворотился весь народ,
Того презреньем окружая,
Кто презирает сельский труд,
Кто на уборку урожая



Идет уныло, как на суд!
А не забыли мы, давно ли? —
Всё это в памяти пока, —
На тех, кто жизнь проводит в поле,
Посматривали свысока:
Деревня — это глушь да слякоть,
Навоз, солома да плетень,
Раз ты крестьянин — значит лапоть,
Ты из деревни — значит пень!
— Теперь мужик живет не хуже,
Чем городской! Культурный стал!
— Пстой-ка, Клим... а почему же
Ты из колхоза-то удрал?
Заколотил досками хату,
Пускай она там хоть сгорит!
Клим чистит щепочкой лопату
И ничего не говорит.
— А ты бы сеял кукурузу,
Пахал бы землю глубоко,
Давал Советскому Союзу
Свинину, масло, молоко!
Что отвернулся, или стыдно?
Молчишь, как старое кино!
На производстве лучше, видно?
— Мне всё едино... всё равно.
Я здесь работаю, не лодырь,
На транспорте двенадцать лет,
И у меня за эти годы
Ни одного прогула нет!
Теперь в колхозах лучше стало,
Вздыхнул народ, а в те года
На трудодень платили мало,
И расползались кто куда.
Бывало, хлеб-то покупаем,
Хоть урожай и неплохой...



А между тем мы все копаем,
Снимаем предпоследний слой,
Нам не помеха разговоры.
И вот уже подходит кран,
Берёт ребристую опору
И опускает в котлован.
Тонн двадцать с лишним в той опоре,
Кран напряжён, дрожит стрела, —
Опора мачте вроде корень
Для неохватного ствола
Сосны таёжной или ели.
Висит, плывёт бетонный кряж.
Не дышим мы, окаменели,
Окаменел начальник наш, —
Вот-вот качнётся корпус крана,
Вот-вот со свистом лопнет трос...
Но вот уж в днище котлована
Бетонный куб навеки врос.
Доделал кран и остальное,
С таким работником — добро!
Поддел он мачту за стальное,
Прямолинейное ребро,
А что он будет с ней считаться?
Поднял её и был таков,
И посадил на все шестнадцать
С резьбою крупною болтов.
Шестнадцать толстых гаек вскоре
Прижали мачту к той опоре,
Пришили крепко — стой вот так
И — никуда ни миллиметра!
И сквозь стальной её костяк
Певуче льются струйки ветра,
В сырую северную даль
Уносят синь и зелень юга,
И станет космы рвать о сталь



Зимою бешеная вьюга.
Надвинув кепку до бровей,
Залез на мачту парень русский
И, как подарок веский ей,
Надел фарфоровые бусы.
Витая медная вожжа
Прошла в указанные сроки
По высоте, чуть-чуть дрожа,
И уж сидят на ней сороки.

* * *

Кто без цветов, а кто с цветами.
Одетый празднично народ
Валит на станцию толпами:
— Электровоз сейчас придёт!
Встречают — видите? — с оркестром! —
И, глядя вдаль из-под руки,
Бегут цветущие невесты
И ковыляют старики.
Идёт спокойный, величавый,
С высоким посохом, прямой,
Знакомый дедушка тот самый,
С патриархальной бородой.
С перроном многолюдным рядом
Прошёл последний паровоз
И окатил последним чадом
Листву черёмух и берёз,
Траву вдоль линии, цветочки,
Ранетки, яблони в цвету
Осыпал копотью — и точка!
Он дымом подводил черту,
Навек прощаясь с магистралью,
Он сделал всё, что сделать мог.
И торжеством, а не печалью



Гремит прославленный гудок!
Открылась новая страница,
И слушают в последний раз
Стада коров, поля пшеницы
Его кипящий медный бас.

* * *

Электровоз ведёт маршрут,
Ведёт бесшумно и бездымно,
И в синем воздухе плывут
Ему навстречу волны гимна.
Во славу мирного труда
Грохочет самая большая
Витая медная труба,
Своих подруг не заглушая.

* * *

Не пишется? То не беда,
Что ускользает шукой тема.
Пошли электропоезда —
Да это ж разве не поэма?!

1961 г.



КИСЕЛЬНЫЕ БЕРЕГА

Часть первая

Дед Исай сидит у печки,
Повествует тенорком:
— Русло той чудесной речки
Не водой, а молоком
Преисполнено до края,
Берега — из киселя!
Только где она такая
Интересная земля?
То ли в нашей стороне?
То ли там, где нет народу?
Не пришлось дознаться мне,
Сроду я хлебаю воду.

В той земле упитованной
Сыплют яблоком дубы.
Хлеб растёт там пеклеванный,
Как у нас растут грибы.
Под берёзой жмётся тесно
К караваю каравай!
Там месить не нужно тесто,
Караваи собирай!
Анна... шла бы ты к Егорке!
С-сукин кот, чтоб он подох,
Не займёт ли с полведёрка
Самых дробненьких картох?
— Сам иди, толкуй с Егоркой!
Дед с тоской глядит на нас
И, вздохнув, чадя махоркой,



Развивает свой рассказ:
— На кустах висят баранки:
Снял — и всё, и можешь есть!
Тоже скатерть-самобранка
Гдей-то, сказывают, есть...
Развернул бы перед вами —
Вот такой она длины! —
А на ней чугуны со щами
И горячие блины.

Мы сидим, глотаем слюни,
Да и дед глотает сам;
А у младшенькой, у Дуни,
Дело близится к слезам.
Вот и слёзы...
— Хватит, батя! —
Рассердилась наша мать.
— Полезайте на полаты,
Ночь давно, ложитесь спать!
Что ты дразнишь ребятишек,
Про еду да про еду?!
— Тише, Анна! Тише, тише!
Я другое поведу!
Успокойся, я про пищу
Больше им не намекну!
За стеною ветер свищет,
Хлещет снегом по окну.
— Поведу я им простое:
Про телегу без колес.
Сел в неё, махнул рукою —
И поехал, и понёс!
Без лошадки скачешь, внучки,
Комары вас закусай!
И придёшь в этой штучке,
Я сказал бы, прямо в рай!



В том раю у всех избушек
На углах по калачу!
Крыши... крыши из ватрушек...
Фу-ты пропасть! Всё! Молчу!
Всё, Анютка, кончил речь я!
Больше слова не скажу!
Пристаёшь ко мне весь вечер,
Как, бывает, хлеб к ножу!

* * *

Лампы нет. Горит лучинка.
И лохань стоит под ней.
На стене у нас картинка:
Царь с фамилией своей.
На картинку тараканы
Наползают из щелей.
Ах, какие сарафаны
У царевых дочерей!
Вот богатые уборы:
А царёнок возле них
Был у нас причиной ссоры:
Я кричала:
— Мой жених!
Надька видит — дело худо,
Плачет, ревности полна:
— Это я царица буду!
Мамка, я? Или она?
И, осыпанный следами
Тараканов и мокриц,
Даже драки между нами
Вызывал наследный принц.
И тогда уж поневоле
Крикнет дедушка Исай:
— Не бывать вам на престоле,

Комары вас закусай!
Ты, Феколка, — озорница,
Надька — злая, как змея,
А царица... вот царица:
Авдокеюшка моя!
Ей оставьте это место,
Я вам прямо говорю!
Будет Дунюшка невеста —
Поведу её к царю!
К зятю нашему, царёнку,
Стану ездить во дворец!
Вот тогда и коровёнку
Заведём мы, наконец!

Если б знали, что наследник
Не дотянет до царя,
Что наследник он — последний,
Мы не ссорились бы зря!

* * *

На полатах, под дерюгой,
А под голову — кулак,
Убаюканные вьюгой,
Мы заснули натоцак.
Мать у Мельниковых мяла
В риге лён и конопли,
Да платили больно мало, —
Пятаки, а не рубли.
Сплел бы дедушка корзину,
Променял на что-нибудь,
Да кусты у нас в низине,
А в низине — снег по грудь.
По кусочки бы с Надеждой
По дворам ходили мы,



Да без обуви-одежды...
Ну куда среди зимы?
На троих одни опорки,
А шубенки ни одной.
Покатались бы мы с горки
На скамейке ледяной,
Да сиди до самой пасхи
На полатях, на печи,
Слушай дедушкины сказки;
Нитки серые сучи,
Да учись пришить заплатку,
Прясть, вязать — копи ума;
Да загадывай загадку
И отгадывай сама.
Скучно, грустно, тошно дома!
На окошках толстый лёд
Свету вялому дневному
В избу ходу не даёт.
А проталинку продышишь
Да пролижешь языком,
Припадёшь одним глазком, —
Снег, соломенные крыши.
Да плетни, да глушь кругом,
Да сурово, исподлобья,
На село глядит тайга,
Понадвинулась над Обью,
Зачернила берега.

* * *

Но зато какую радость
Приносили нам скворцы!
Вот капель уж сыплют градом
С крыш сосульки-леденцы.
Дальше — больше; на песочке,

За кустами у реки
Распускаются цветочки,
Золотые огоньки.
Неба синяя громада
Всё светлее и теплей, —
Ничего теперь не надо —
Ни пимов и ни лаптей!

* * *

Что ж, голодное, босое,
Хоть какое — всё равно
Детство — время золотое...
Чище золота оно!
Помню в зарослях черемух
Мы сидели иногда,
И цветы кидали в омут,
И глотала их вода.
Пробираемся кустами,
Гущей спутанных ветвей, —
То кувшинки под ногами,
То осока да пырей.
Коршун рыжий и лохматый,
Крылья длинные раскрыв,
Из травы взлетит, проклятый,
Напугает нас, как взрыв.
Досиделся, вражья сила,
Притаился под травой,
Чуть-то, чуть не наступила
Я на хвост ему ногой!

А изба стояла наша
На отлёте от села.
Всех других строений и краше
И милей она была!



Все сучочки в бревнах помню!
Кровли нет. На потолок
Дед изломанные дровни
Для чего-то заволок.
На трубе — ведро без доньшка,
Из трубы поутру — дым,
И подсолнечник, как солнышко,
Вылезал из лебеды.
Мы гордились, что на крыше,
Хоть всю улицу пройди,
Но травы, чтоб нашей выше, —
Нет, такой уж не найти!

А июньскими ночами,
При луне и без луны,
На дворе у нас кричали,
Словно в поле, дергуны.
И старались перепелки
Глушь ночную расколоть,
Торопили на прополку,
«Подь-полоть» да «подь-полоть»!
Двор наш — всех длинней и шире:
Ни кола вокруг «хором»,
И могли хоть пол-Сибири
Мы считать своим двором.
Дед Исай шутил, бывало:
— Что, у нас скотины мало?
И медведи есть, и волки,
Соболя и горностаи, —
Вот у нас скотины сколько,
Комары её кусай!

Летом мы, все три сестрёнки,
Промышляли по полям,
Ели «пучки» да «матрёнки»



С чернозёмом пополам.
В перелеске, на полянке,
Где цветов-огневок круг,
Грызли сочные саранки
И сосали дикий лук.
Вкусно всё: коневник, лук ли,
Воробьиный ли щавель...
А потом играли в куклы
Возле наших конопель,
За крапивою — и там уж
Совершали весь обряд:
Выдавали кукол замуж.
Шили крошечных куклят.
Кукол мы учили плакать.
Корку резать по частям;
Посадив их в старый лапоть,
Развозили по гостям.
Куклы ели, куклы пили,
Куклы по миру ходили
И протяжно пели стих,
Умирали —
На могиле
Мы оплакивали их.

Маслобойникова Кешку,
Толстощёкого врага,
Мы катали на тележке
За кусочек пирога.
А отец его, Терентий,
Похохатывал, тюлень:
— Коренную, Иннокентий,
Коренную хорошень!

А потом, спустя лет восемь,
Стал ухаживать за мной



Иннокешка тот под осень, —
За своею коренной.
Он манил меня богатством, —
И рубаха как огонь,
Сапоги с набором частым
И двухрядная гармонь,
И конфеты, и орешки,
Две коровы, три коня,
Но как вспомню я тележку...
— Отвяжись ты от меня!
— Фёкла! Жить ты будешь... очень!
Руки мыть в бараньих щях!

* * *

Возвращаемся к той ночи.
Мы заснули натошак
После сладких побасёнок
О блинах и пирогах
И о домиках весёлых
На кисельных берегах.
Я проснулась... Что такое?
У стола горит светец.
За столом уселись трое:
Мамка, дед и... кто? Отец?!
Шепчет мне с испугом Надька,
В бок толкает кулаком:
— Из войны вернулся тятка!
Глянь-ка: чашка с молоком!
Хлеба круглую буханку
Дед кромсает, рад до слёз.
Может, скатерть-самобранку
Тятка нам с войны принёс?

— Я ходил, ходил бы, Вася! —



И жует, и плачет дед, —
Да спина-то отнялася:
Шаг шагну — и мочи нет!
И в глазах тельмешить стало,
И в середке все болит!
Только это и связало,
А не стыд, — какой тут стыд?
Воровать, сыночек, стыдно,
А за спрос — не стукнут в лоб!
Спору нет, оно обидно,
Да иначе... хоть ты в гроб!
Ну, а что ж ты делать будешь
Без ноги да без руки?
Осуждать не станут люди,
Только разве дураки!

Мать вздохнула:
— Жизнь наша! —
Стало тихо за столом.
А отец не ел и кашу —
Даже кашу с молоком!
Он, на стол поставив локоть
И прижав к щеке ладонь,
Все глядел, глядел на копоть,
На лучинку, на огонь.
А усы, усы какие!
Два больших полукольца,
Золотые, завитые,
Заострённые с конца!
Он молчал. Плохая радость!
Хлеба нет. Картошки нет.
— Уберите эту гадость! —
Указал он на портрет.
И последнею рукою,
Лишних слов не говоря,



Изорвал со всей семьею
Он последнего царя. —
В клочья, в крошки, под порог!
Дед сказал:
— Смотри, сынок!
Если спросят... слышишь, Анна
Спросит кто: а где ж потрет?
Скажешь, съели тараканы!
Ночью слопали на нет!
Непонятно мне и Наде.
После спросим, разберём,
Почему он не поладил,
Тяжка наш, с самим царём?

В красноватых пятнах света,
Без ноги, с одной рукой,
Да сердитый... он ли это?
Разве он у нас такой?!
Но когда он
Жёсткой щёткой
Протабаченных усов
Уколол мне нос и щёки,
Сам расплакаться готов,
А потом Дуняшу, Надю,
А потом опять меня,
По головке грустно глядя,
Он поставил у огня,
Чтобы нас виднее было, —
Мы узнали, наконец,
Что теперь...
Теперь мы — сила!
Он! Отец!

Пусть, когда настанет лето,
Нас обидит Петька-Крот, —

Тягька наш ему за это...
Просто уши оборвёт!
Петька черный, как галчонок,
И курнос, и ростом мал, —
Ненавидел нас, девчонок,
Бил, проходу не давал!
То подсолнечною шляпкой
Он царапал щёки мне,
То сумой своей, то шапкой
Ошарашит по спине;
Дуне с Надею смолоу
Мазал головы не раз...

— Тягька, ты ему, «герою»...
Ты побей его за нас!
— Хорошо! Расправлюсь, дочки!
Дам по шее кулаком!
Подбирайте все кусочки,
Ешьте тюрю с молоком.

* * *

Утром рано поглядели
Мы с палатей: мамки нет;
Тягька спит, в его шинели
По избушке ходит дед:
То на пуговицы взглянет,
То оглянется назад,
Повернется, прямо встанет,
А шинель ему до пят.
Близ отцова сапога —
Деревянная нога.
Так похожа на бутыль!
А в углу стоит костыль.
Мы про Петьку не забыли:



У него, у бобыля,
Нет такой ноги-бутыли,
Нет такого костыля!
Скажем:
— Скатерть-самобранка
Есть у нас, лежит в избе!
Уходи в свою землянку,
Не покажем мы тебе!
Если станет сомневаться —
Мы докажем, убедим:
— Мы ж не ходим побираться?
Что ж, по-твоему, едим?
Иннокешке пулю ту же
Отольём, настанет час:
— Мы живём теперь не хуже,
А получше даже вас!

* * *

Отдохнул отец с неделю,
Осмотрелся, и ему
Мать «торжественно» надела
Серо-бурую суму.
Молвил дедушка:
— Неволя».
Не осудят голоса!
Век прожить, сынок... не поле...
Что ж? Бывает полоса!

Побелел отец-страдалец
От подобной полосы.
Долго, долго он
На палец
Навивал свои усы.
Мы по лавочкам сидели.

Резко вскинул он костыль,
Стукнул в дверь...
В седой шинели
В снеговую канул пыль.
С удивлением и страхом
Оглянулись мы на мать:
Как над мертвым, как над прахом
Начала она рыдать.
Что случилось? Что за горе?
Ну зачем она ревёт?
Надо радоваться: вскоре
Тяжка хлеба принесёт!
Дед поморщился.
— Калека! —
Прошептал со вздохом он. —
Обкарнали человека,
Шельмецы, со всех сторон!
Брось, молчи, терпи, Анютка,
Ты горюй, да помни край!
Причитаешь — слушать жутко.
Ребяток не пугай!

* * *

А село у нас большое,
Растянулось верст на шесть.
Люди разные: с душою
И с достатком люди есть.
— Не без добрых душ на свете.
Принимай суму-то, мать!
Сыпь на стол! Садитесь, дети,
Сухари сортировать.
Вот так скатерть-самобранка!
И чего-чего тут нет!
Две конфетки! Три баранки!



Удивлѐн безмерно дед:
— Кто?! Не лавочник ли Душин?!
Ты смотри-ка! Молодцом!
По кускам читают души
Мать и дедушка с отцом.
Словно книгу, словно повесть
Развернули на столе:
У кого какая совесть,
Кто скупее всех в селе,
Кто последнюю горбушку
Рад отцу преподнести,
На кого не грех бы пушку
Зарядить да навести!

— Корка чья? Швырнул бы в морду,
Подавись, мол, кровосос!
Вот как резко, вот как гордо
Ставил дедушка вопрос.
А отец сказал:
— Не надо!
Будет праздник наш, отец!
Ждѐм вестей из Петрограда.
Говорят... царю конец!
На знаменах пишут прямо:
Угнетателей — долой!
На отца взглянула мама,
Покачала головой:
— Что с того... таким калекам?
Так же будешь кукарекать!
Хоть и крышка Николашке
И буржуям разным то ж, —
Всѐ равно: на деревяшке
Далеко ты не уйдѐшь!
— Я?! Уйду! Тихонько, шагом,
У богатых на виду,

Не с сумой,
А с красным флагом
Вдоль по улице пройду!

А слова, слова какие
На войне отец узнал!
«Цепи рабства», «Вся Россия»
И — «Интернационал».
Деду вроде жарко стало.
— Значит, труд да капитал?
Ты, видать, сынок, немало
Книг запретных прочитал? .
— Прочитал, папаша, точно!
В книгах путь указан нам,
Так скажу, к реке молочной
Да к кисельным берегам!
— К той реке? Да неужели? —
Поперхнулся дед Исай —
Значит, всё же в самом деле
Есть, сынок, тот самый край?
— Есть, папаша. Есть. Но только
Нелегко туда пройти!
Рыси хищные да волки
Залегла на том пути!
В это время два соседа,
Дядя Зот и сват Сергей,
К нам явились — и беседа
Затянулась до огней.

От войны спасённый грыжей!
Дядя Зот черней грача,
А Сергей с бородкой рыжей,
Лоб — краснее кирпича.
Но и он с изъяном тоже,
На войну не угодил:



Глаз весёлый у Сережи,
Меткий, зоркий, да один.
Зот по свадьбам деревенским
Пел рассыпчатым баском,
А Сергей высоким, женским,
Тонким, звонким голоском.
С малых лет друзья до гроба.
Два весёлых батрака
Во хмелю любили оба
Славить долю бедняка.
— Не твою ли, бедняк, хату
Ветер пошатнул?
С крыши ветхую солому.
Всю к чертям раздул?!
...Задают они вопросы.
А наутро и несут:
Дядя Зот — полпуда проса,
А Сергей гороху пуд.
— Больше мы пока не в силе.
Видно будет впереди.
Только по миру, Василий,
Ты уж больше не ходи!
Да с твоей ли головою
Побираться? Это что ж?!
Потерпи уж! А весной
С нами плотничать пойдёшь.
Как сумеешь, сколько сможешь!
Где пилить, строгать поможешь,
Гвоздь забьёшь, положишь мох...
Всхлипнул дед:
— Спаси вас бог!

* * *

Дядя наш, Мешков Никита,
В пятистенном жил дому.
Забегала я к нему,
А Никита ядовито:
— Что отец-солдат глаголет?
Хоть калека, а речист!
Про слободу больше, что ли?
Говорят, он коммунист?
Ты за солью, замарашка?
Кто послал-то: мать иль сам?
Если мать — насыплю чашку,
А отец послал — не дам!
Передай отцу ответ:
Коммунистам соли нет!
А кусков-то нынче много
Или мало вам принёс?

Я стояла у порога.
В горле — соль и горечь слёз.
Дядя грузный и усатый.
Стулья. Кресло. Медь икон.
И с трубою полосатой
Запыленный граммофон.
По бочонку с хлебным квасом
Таракан бежит бегом,
А из печки пахнет мясом,
Пахнет сдобным пирогом.
Тетка Дарья с толстым носом
Тесто тискает в квашне
И с таким большим вопросом
Обращается ко мне:
— Почему ты к нам, Феолка,
Не приходишь никогда?
Подмела бы двор метёлкой,



Натаскала бы воды!
Помогла стираться мне бы
Или вымыла бы пол!
Щей налью, нарежу хлеба,
Посажу тебя за стол!
Не приходишь! Дивно, дивно!
Ведь тебе уж десять лет!
Или мы тебе противны,
К нам ходить охоты нет?!

* * *

Осень шумно по оврагам
Листья красные мела.
Мужики под красным флагом
Шли по улице села.
Шёл отец
С повязкой алой
На шинельном рукаве,
Вожаком и запевалой
У колонны в голове.
И торжественно-сурово
Хором пели мужики
Про разбитые оковы,
Про патроны и штыки.
Из калиток осторожно,
Из окошек, из ворот,
Не пригладив шерсти бород,
Слушал злобно и тревожно
Хлебный, денежный народ.
На крылечке тётка Дарья
Вытряхала сарафан
И кричала:
— Пролетарья!
Пролетария всех стран!

* * *

Улыбнулось мне и Наде
Счастье отблеском зари:
В новых сумочках тетради,
Ручки, перья, буквари.
Смотрим вечером картинки
Да читаем по складам,
И бесплатные ботинки
Прямо в школе дали нам.
Ноги сами просят ходу,
Словно крылья на спине.
Мы таких ботинок сроду
Не носили и во сне.
Иннокешка со слезами
Своему отцу пропел:
— Не дают! Идите сами!
Обувь только шантрапе!
Вот бежит его родитель
И в усах несёт вопрос:
— Почему же так, учитель.
Довели дите до слёз?
Значит, равенство да братство,
Так и вышло, болтовня?
Да какое же богатство
Усмотрели у меня?!
Бьет Терентий в пол ногою:
— Вы скажите по душам:
До чего дойдёт такое
Поширеньё голышам?!

Ночью мельница-ветрянка
Загорелась за селом,
Сыплет огненную дранку,
Машет пламенным крылом.
Вся в огнях она вертится,



Вправо, влево, в высоту
Оперение жар-птица
Расшвыряла на лету.

Топот. Грохот. Из окошка
Крикнул дедушка Исай:
— Это он зажѣг! Терешка,
Комары его кусай!
— Не болтай! — сказала мама
Ты откуда знаешь? Ляг!
— Он! — вопил старик упрямо
Он зажѣг! Его ветряк!
Вслед за дедом побежали
На пожар и я, и мать.
Дед, толкаясь на пожаре,
На своем стоял опять:
— Он, шельмец!
С таким расчётом:
Никому так никому!
Мол, поскольку я...
Да что там?!
Мужички! Каюк ему!
Где он, плут? Он здесь, однако?
Р-раз! В огонь его бросай!
Пусть живѣем сгорит, собака,
Комары его кусай!
А пастух Овдошкин с дрожью
На Терѣшку лезет тож:
— Значит... хочешь... это... рожью?
Чтобы мы жевали рожь?!
Взвыл кулак:
— Не я! Напрасно! Волокнут его в огонь.
Но отец наш — звонко, властно:
— Стой, товарищи! Не тронь!
Не к лицу нам это, братцы!



Есть порядок, есть закон!
Надо строго разобраться,
Может быть, и впрямь не он!
Потрясённый кулачина
В ноги бухнулся отцу:
— Кум! Василий! Две овчины!
Две овчины — и овцу!

* * *

С сельсоветского крылечка,
Растревожив весь народ,
Зажигательные речи
Произносит дядя Зот.
А за дядей наш родитель
Пробивается вперёд.
Распахнув шинель и китель,
За грудки себя берёт.
Вот ведут, ведут Мешкова,
Страхом, злобой он набряк.
— Отвечай, Мешков, толково:
Ты зачем зажёг ветряк?
У тебя муки излишки?!
Раскололась тишина,
И кипит селенье Шишки
От темна и до темна.
А селу такое имя
Не случайно дал народ:
Кедры с шишками своими
Лезут прямо в огород.

* * *

Может, Шишки больше века
Простояли на земле,



Час настал — библиотека
Открывается в селе.
Подвязав овчинный ворот.
Тятя наш, в большой мороз,
На санях поехал в город,
Что ж из города привёз?
Где он взял, — не знаем сами,
Столько всяких разных книг,
Только вроде бы духами
Так и веяло от них.
А под книгами винтовки
И с патронами мешок.
Дед распутывал верёвки,
Говорил:
— Ого, сынок!
В эту зиму колчаковцы
К нам пришли из-за реки,
И смиреннее, чем овцы,
Их встречали кулаки.
Осторожно, как младенца,
Нёс Бибякин Ермолай
На холщовом полотенце
Соль да хлеба каравай.
А Терентий даже в косу
Затрезвонил, а к чему?
И — кулак приставил к носу
Офицер рябой ему.
— Это что за тенти-бренти?!
Ты рехнулся, крокодил?!
Перекланялся Терентий,
Перегнул, не угодил.

* * *

Стало тихо, стало глухо,
Не видать в селе людей,



И сама зима-старуха
Застучала в окна злей.
У пустынного колодца
Пригорюнилась сосна,
И казалось — не вернётся
К нам зелёная весна.

* * *

Вот Терентий к нам приходит,
В длинной шубе, краснонос.
Разговор пустой заводит —
Мямлит что-то про мороз,
Про овчины да овечку —
Ничего нельзя понять.
А глазами — и на печку,
И под стол, и под кровать!
И противно нам, и жутко.
Достаёт он кошелёк.
— Восемь гривенок, Анютка!
Получи с меня должок!
И внезапно охнул «с болью».
Заметался, сам не свой.
Уронил пятак в подполье,
А кричит, что — золотой!

— Что наделал, дурачина!
Знать, совсем сошёл с ума!
Зажигай, кума, лучину,
Полезай, ищи, кума!

Мать бледнела, дело худо:
Он высматривал, шельмец,
Он выискивал, иуда,
Где укрылся наш отец!



На Терентия с ухватом
Налетает дед Исай:
— Что ты нюхаешь по хатам,
Комары тебя кусай?!
Сгинь немедленно, Терешка,
Скариот, собака, пёс!
Я сплошал тогда немножко,
Не сгорел ты, кровосос!
Век мудришь над нашим братом!
Размахнулся дед и — р-раз!
Кулаком, а не ухватом.
Кулака под левый глаз!
Дверь открылась. На пороге —
Колчаковец средних лет,
Длинный нос, кривые ноги...
— За кого воюешь, дед?

* * *

Я тогда ещё не знала,
Что земля горит в огне,
Что Чапаев по Уралу
Скачет с саблей на коне.
Я тогда ещё не знала,
Что забыть уж не смогу
Пятна, брызги крови алой
На растоптанном снегу.
С плачем мы
Прижались к маме
В тот седой морозный час,
Словно били шомполами
Не родителя, а нас.

* * *

Ночь надвинулась; бураном
Горки снегу намело,
И с бураном — партизаны
Тихо въехали в «село.
К нам вбежали и спросили
Дядя Зот и сват Сергей:
— Где Исаич?
— Где Василий?!
— Где? Пошли, веди скорей!
Я в одних чулках за ними
Огородами бегу,
Спотыкаюсь в темно-синем
И рассыпчатом снегу.
К Маслобойниковой бане,
За кустарником густым,
Сам Терентий «колчаками»
Был поставлен часовым.
Он в предбаннике, ликуя,
В дверь постукивал замком
И беседу вёл такую
С умирающим отцом:
— Что, поел блинов, калека,
Из... из белой-то муки?
Приходи ещё ко мне-ка,
Дам уж сам, бери, пеки»
Сам насыплю, голоштанник,
И в глаза, и в нос, и в рот!
В этот миг вошли в предбанник
Сват Сергей и дядя Зот.
Распахнулась дверка бани,
Полетел замок долой.
Весь дрожа, стуча зубами,
Очумелый часовой



Повалился, охнул слабо.
Зот вполголоса ему:
— Где у них тут... вроде штаба?
— Ох, Зотай, в моем дому!
Пощадите Христа ради!
— Тише, пёс! Давай, веди!

И пошли: Терентий сзади,
Партизаны впереди.
— Часовому что ответишь?
Изворачивайся, пес!
Говори, что вот, мол, эти —
К офицеру на допрос!

* * *

В бане четверо сидели
В ожидании конца.
Трое тихо на шинели
Понесли домой отца.
Мать, в сугробе увязая,
Всё старалась им помочь.
Не забуду никогда я
Эту баню, эту ночь!

Тонкий месяц
В тучки-хлопья
Завернулся и потух.
Гулко крыльями похлопав,
Возвестил зарю петух.
И навстречу слабой, алой,
Обмороженной заре, —
Шум и грохот небывалый
На Терентьевом дворе.
Окна лопаются, слышно,



Стёкла брызнули, звеня,
Оплеснули тополь вспышки
Красноватого огня.
Выстрел... Лошади заржали,
Разбудили пулемёт...
Колчаковцы вытекали
Из села на Обь, на лёд.
А между селом и Обью
Полосой прошла тайга,
И в тайге медвежьей дробью
Наши встретили врага.
Я, конечно, знала мало,
Я уж после от людей
Все подробности узнала...
Полоса тайги, а в ней
От села и чуть не в реку,
Так оно и до сих пор,
Проползла змеей просека.
Узкий, длинный коридор,
Для одних саней дорога,
Двое встретятся — хоть плачь.
И теснят дорогу строго
Сосны, кедры и пихтач.
Кинься влево, кинься вправо —
Выше пояса сугроб
И просека для оравы
Колчаковской — гроб.
Завалили всю просеку
«Колчаки» — и потому
Жутко было человеку
Проходить здесь одному.

Мы ходили, поглядели,
Нам, детишкам, интерес.
Страшноват был в самом деле



Оккупированный лес.
Так и сяк раскинув ноги,
Продовольствие сорок
Растянулось вдоль дороги,
Повалилось поперёк.
Коченели друг на друге
Истязатели земли.
Хорошо, что вскоре вьюги
Всю просеку замели.
Хорошо, что их весною,
Разворочав корку льда,
В океан взяла с собою
Небрезгливая вода.

* * *

Помню я, как хоронили
Партизан. Кружился снег
Над народом. На могиле
Речь приезжий человек
Говорил. Застыли спины,
Леденели капли слёз.
Ряд гробов. И комья глины.
И мороз, мороз.
На могиле братской этой
Белый камень, письмена,
И слова «За власть Советов»,
И погибших имена.
Незабудки окружили
Эти вечные слова.
Вырастает на могиле
Выше пояса трава.
В сентябре рябины кисти
Над оградкою висят,
И летят на камень листья
Золотые в листопад.

* * *

То метелей свист и пляски;
То опять разлив цветов, —
Как-то быстро, словно в сказке,
Пролетело семь годов.
Вышли, выбились немножко
Из нужды великой мы:
Есть у нас полусапожки,
Полушубки и пимы.
Кофты, шали, сарафаны,
Пусть не шёлк и не атлас,
И — вот диво — тараканы,
Дружба врозь — ушли от нас!
Двор, как все двory крестьяньи, —
И плетень, и хлевушок,
И поёт по расписанью
Аккуратный петушок.
Завели мы коровёнку,
Поросёнка, трех овец,
И драничками избенку,
Наконец, покрыл отец,
С потолка сперва подергав
С корнем стебли лебеды,
И горелое ведро,
В саже всё, смахнул с трубы.
А снаружи избу глиной
Облепили, а потом
И черемуху с рябиной
Посадили под окном.

Что ж ещё? Ага, иконы
Отнесли мы на чердак.
Даже мама бить поклоны
Стала вяло, кое-как:



По-казённому, на случай,
Перекрестится раз шесть, —
Бога нет, туман за тучей...
Нет-то нет, а вдруг да есть!
Труд простой: к плечу прижала,
К животу, ко лбу щепоть,
Как страховка от пожара:
Если есть — учти, господь!

Но присматривался к маме,
Улыбаясь, как живой,
Хитро-добрыми глазами
Ленин в шапке меховой.

Это были годы нэпа.
Бедняки. Средняки.
Снова бороды свирепо
Расчесали кулаки,
Богатеют, лезут в гору,
По ночам воруют лес,
Сеют слухи, и селькору
В спину целится обрез.

На полынь овсянка плачет.
Урожай опять плохой.
За межой мужик маячит,
Надрываясь над сохой.
Лошадёнка, в рваной сбруе,
Взмокла, в мыле, а над ней, —
А над ней гудят, пируя,
Туча мух и рой слепней.
И зубами, и ногами,
И обсекшимся хвостом
Бьётся, бедная, с врагами, —
Съели заживо! Потом

Начинает пахарь крякать,
Превратив в хлопушку лапотъ,
Бьёт слепней, как на стерне,
На лошадиной спине,
Хлещет — батюшки мои!
Лапотъ мокрый, весь в крови!
Ох, карюхи да гнедухи,
Мне до слёз вас было жаль!
Пусть теперь слепни да мухи
Тракторов кусают сталь!

А сейчас перо покину
На минутку потому,
Что взглянула на картину:
Ленин в кресле,
А к нему
Наклонились, ловят слово
Те крестьяне-ходоки,
Может быть, из-под Тамбова,
Может быть, сибиряки,
Или ближние, тверские, —
С вечной думой о земле,
Вся тележная Россия
Перед Лениным в Кремле!
Лапти в клетку да котомки,
Да с мякиною блины, —
Ленин знал, что их потомки
Доберутся до Луны!

* * *

Не пахал отец сохою,
Это было свыше сил.
Но косить траву косою —
Приспособился, косил,



Черенок косы ремнями
Пристегнув к руке-култышке.
— Брось, отец! Накосим сами!
А уж ты... читал бы книжки!

Улыбнётся он, бывало,
В побелевшие усы.
Сам кладет нарядным валом
Травы слева от косы.
Ряд широкий, косит чисто,
Шутит, словно молодой...
А над ним поёт басисто
Шмель мохнатый золотой.

Ветерок душистый дунет
И заснёт, замрёт опять.
Косит Надя, косит Дуня,
Я кошу, и косит мать.
Вьются пчелы, вьются осы...
Навалившись на протез,
Кончил ряд и точит косу
Под берёзою отец.
— Дочки, пташки-канарейки,
Чем же я плохой косарь?!
В эти годы — партячейки
Он неплатный секретарь.
Мать вздыхает:
— Он в ячейке
Самый первый по уму,
Только денег ни копейки
Не положено ему!
Ох, хо-хо, руководитель,
Беспокойный инвалид!

Улыбается родитель,
Ничего не говорит.

* * *

В праздник масленицы блинной,
Три, четыре дня подряд
Иннокешка, парень длинный,
По селу катал девчат.
Раздобрев с овса да с теста,
Из оглобель рвётся конь,
А богатые невесты
Припевают под гармонь:
— Коммунист мой, коммунист,
Рубашка зелёная,
Не пойду я за тебя, —
Изба разваленная!
Покурить и покалякать
Собралась к нам беднота.
На столе потешный «Лапоть»
И газета «Беднота».
На стене у нас плакаты,
Живописные труды:
Словно сахарные, хаты
И цветущие сады.
А вдали, за жёлтым трактором,
Вдоль столбов и вдоль берёз,
По равнине ходит трактор,
Режет сразу пять борозд.
— Не дожить до этой штуки! —
И, во всю вздыхая грудь:
— Только разве наши внуки! —
Горько молвит кто-нибудь.
В голове звенит от гвалта,
Спорят, все вошли в азарт:
— И теперь уж есть! Слышал ты
Про коммуну «Авангард»?!



Звон бубенчиков — и тройка
Подкатила к воротам.
Иннокешка входит бойко,
Раскраснелся:
— Здравствуй вам!
— Здравствуй, здравствуй, Иннокентий!
Тятя вздрогнул. Почему?
Думать надо, что Терентий
Крепко вспомнился ему!
Кешка пьяненький, игриво —
Шарф нарядный по плечу:
— Собирайся, Фекла, живо,
Покатать тебя хочу!

Вышли в сенки на беседу.
— Кешка, я тебе раз пять
Отвечала: не поеду!
Не поеду! Ты опять?
— Фёкла, жить ты будешь... очень!
Руки мыть в бараньих щях.
Как купчиха.
А короче —
Принимай сегодня свах!
Твой папаша,
мой папаша
Враждовали меж собой, —
Это дело уж не наше,
Не качай ты головой!
Жду ответа, словно лета!
У меня скотина, дом,
И журналы, и газеты, —
Сам себе я агроном!
На столе всегда мясное
Рядом с брагою хмельной,
И начальство волостное



Делит хлеб и соль со мной!
Чем завлѣк тебя Андрюшка,
Человек без ремесла?
У него сгнила избушка,
В землю по уши вросла!
Всей посуды только чайник,
Всей скотины — кошка-тварь!
Вот, подумаешь, начальник:
Комсомольский секретарь!
А что он играет роли,
Представляет кулака,
То за это хлеба-соли
Не дают ему пока!
А что лепит он от скуки
Злоехидные стишки,
То ему за эти штуки
Могут выпустить кишки!
Да, да, да, и очень просто,
Не качай ты головой,
И вполне, и в том вопрос-то,
Что останешься вдовой!
И тогда совсем, подружка,
Выйдешь ты из колеи!
Я сказала:
— Мне Андрюшку
Понапрасну не клеи!
Ты наслушался болтуний
И болтаешь, как шальной!
Он гуляет с нашей Дуней,
А нисколько не со мной! —
Маслобойников ногою
Топнул злобно и ушёл.
По-кулацки под дугою
Забалакал колокол.



* * *

Сделав брюхо из подушки,
Руки кренделем в бока,
Хорошо играл Андрюшка
Мироеда-кулака.
— Дайте ножик,
Дайте вилку,
Я зарежу
Потребилку!
Работающий, бравый парень,
Гармонист и грамотей,
С Евдокией нашей в паре
Был он краше всех парней.
С книжкой дома, с книжкой в поле,
Собирался на рабфак,
Самый первый в комсомоле...
И погиб Андрей? Но как?
Шёл спектакль. Батрак Егоров,
Представлявший кулака,
На Андрея, на селькора,
Взвёл курки дробовика.
Из-за низенькой березки
Глухо грохнул дробовик,
И упал Андрей на доски,
И упал он, грудь в крови.
Только крикнул:
— Идиоты! —
И — предсмертный стон.
В дробовик подсунул кто-то
Боевой патрон.
.....
Красный гроб. Цветы сугробом.
Солнце. Кладбище. Трава.
Наша Дунюшка над гробом

Разрыдалась, как вдова.
И меня душили слёзы,
И глаза, и сердце жгли,
И листочками берёзы
Доставали до земли.
— Кровь, сынок, взойдёт цветами,
Сказки к смыслу говорят! —
Утешал отца словами
Дед семь лет тому назад.
Вот идём мы на воскресник
Жать серпами вдовью рожь,
И совсем другие песни
Запевают молодёжь.

Раньше так про нас болтали:
Дескать, мы, живя в лесу,
Старым лаптем щи хлебали
И молились колесу.
А теперь от мест урманских,
От зелёных купырей,
От тайги и до британских
Нам неведомых морей
Улетают песни наши...
Пролился на пыль дорог
Из небесной синей чаши
Солнца нового поток.
Комсомольцы, комсомолки,
Молодой зелёный гам,
И берёзовые колки
Шлют привет зелёный нам.

А вот это не цветы ли?
Не за рубль, не за пятак
Сжали рожь, снопы сложили
Мы вдове, а просто так.



Прослезилась отчего-то
Многодетная вдова.
Нам — спасибо за работу.
Ей — спасибо за слова.
И слова её — цветочки:
— Будто вы одна семья.
Вам, сынки мои и дочки,
Позавидовала я! —

Так-то так. Да рожь-то реже,
Чем осот и лебеда.
Межи тоже вроде те же,
Как и раньше, как всегда.
Тут бедняк, а там богатый
Грудь осыпал бородой,
И как будто виноваты
В чём-то мы перед вдовой.
В чём же? В том ли, что на клинья
Распластованы поля
И тоскуют под полынью
Межи, горечью пыля?
И ещё одна навеки
В память врезалась пора.
Тает снег. Набухли реки.
Мы встречаем трактора.
Расшумелись над деревней,
Над березами грачи.
Ни одной старухе древней
Не лежалось на печи.
Веселилась, вся сверкая,
Ручейковая вода.
Жаль, что дедушки Исяя
Не было уже тогда.
Он бы вышел самый первый,
Чтоб фуражкой помахать.



А Моткова-бабка с вербой
Вышла технику встречать.
Растерялась старушонка,
Рассмешила полсела:
И внучонку-то в ручонку
Ветку вербную дала!

«Вредителям мы начисто
Готовим карачун,
Сметем с полей кулачество,
Сорняк и саранчу!»

Из калитки Иннокешка
Остороженько глядит,
Песни слушает с насмешкой
И косится, как бандит.
У него случайно Дуня,
Восемь дней тому назад,
Под соломой, возле клуни,
Раскопала целый склад.
В тот же день находку эту —
Рожь, пшеницу и овес —
Наш родитель к сельсовету
Показательно подвёз.
И в минуту вроде митинг
Собрался вокруг подвод.
— Вот, товарищи, смотрите! —
Призывал отец народ. —
Вот кулацкая программа:
Хлеб сгною, но городам,
Но рабочим — ни полграмма
На индустрию не дам!

Песни, солнечные блики,
Тракторов железный гром



Возвещали, что великий
Наступает перелом.
Да, великий... Вот передний
Трактор новенький ведёт —
Кто такой? Сосед наш вредный,
Петька Лаптев, Петька-Крот!
Он ли, в нищенском наряде,
Сумку серую надев,
Под окошком «христа-ради»
Ныл угрюмо, нараспев?
Не забыть, как Иннокешка
Нанимал его в лесу:
— Съешь мышонка, Петька?
Съешь-ка —
Две лепешки принесу!
— Три неси! И две картошки!
Не жалеи для сироты! —
Взяв картофель и лепешки,
Петька задал лататы.
— А мышонка, — крикнул звонко, —
Сам сожри за первый сорт! —
Так обидно кулачонку:
— Обманул, смолёный чёрт!

Перелом в сиротской доле!
На дождях да на ветру,
На пастушьем хлебе в поле —
Это снилось ли Петру?
Дребезжат в окошках стекла,
Сотрясает землю дрожь...
— Залезай на трактор, Фёкла!
Лезь, держись, не упадёшь!
Прокачу тебя немного!
Вот и я завёл коня!
А жених твой смотрит строго

На тебя и на меня!
Так глазами нас и ест он,
Дышит, словно тянет воз!
Всё, Степан, простись с невестой,
Раз не хочешь к нам в колхоз!
Увезу! Единоличный
Не подходит ей, простись!
Ей подходит энергичный,
Комсомолец, тракторист!
— Петька, брось болтать, не балуй,
И не тронь меня рукой!
Ты шутя, а он, пожалуй,
Приревнует, он такой!

И отпраздновали вскоре
Праздник первой борозды...
Много, страшно много
В море
Утекло с тех пор воды!
Все, что было и что сплыло,
Никогда не рассказать!
Заросла травой могила,
Где лежат отец и мать.
То над ними свист метели,
То хлеба шумят вокруг.
Сколько раз уж пролетели
То на север, то на юг
Журавли, роняя голос!
Насолила нам война.
Преждевременно мой волос
Обметала седина.
На плечах лежала глыба,
Но на мне ли на одной?
И за все, за все спасибо
Я скажу земле родной:



И за хлеб, и за баранки,
За морозы и теплынь.
За щавель, и за саранки,
И за горькую полынь!
За поля, кусты и травы,
За июньскую росу,
За певучие дубравы,
За подснежники в лесу,
За веселый смех и слезы
Молодых и зрелых лет,
За родимые березы,
За черемуховый цвет!

Часть вторая

Я еще писать хотела.
Наши дни включила в план, —
Не пришлось! Пропало дело!
Протестует мой Степан.
Не велит писать — и точка!
Вот его прямая речь:
— Соберу твои листочки
И, ей-богу, кишу в печь!
Потому что бесполезны
Сочинения твои!
Ты доярка? Будь любезна,
Знай свои дела: дои!
Он с такою, мой коварный,
Рыжей, красной бородой, —
Если встретится пожарный,
Обольет её водой!
Обольёт! И будет прав!
Да ещё наложит штраф!
Отчего же рыжий злится?
Отчего? Сейчас скажу.

Он, по-моему, боится,
Что его изображу.
Как-то я проснулась ночью,
Он глядит в мою тетрадь.
Но ему мой мелкий почерк
Никогда не разобрать!
Смех и грех с подобным мужем!
Не волнуйся, дорогой,
Мне ни капельки не нужен
Заурядный образ твой!
Ну зачем, скажите сами,
Я введу его в рассказ?
Чем прославился? Усами?
Бородой до самых глаз?
Сорт пшеницы вывел новый
С дивным колосом в аршин?
Или в дни войны суровой
Громкий подвиг совершили;
Нет! От Клина до Берлина,
До последних грозных дней, —
Все три года с половиной
Он кормил овсом коней!
Трехпудовые снаряды,
Сахар, соль, мешки с крупой,
Хлеб, табак возил со склада
К пушкам или к огневой.
Говорит, что и в атаку,
В дым, в огонь ходил не раз,
Но не верю я, однако,
Потому что врать горазд!
От коней, поди, ни шагу!
Сколько я могу судить,
Две медали «За отвагу»
Мог в обозе заслужить.
Может, дважды, под бомбежкой,



На испуганном коне,
Он мешки с пшеном, с картошкой
В срок доставил старшине.

Тары-бары, растабары, —
Растабаривать готов
Про пожары да базары
До двенадцати часов!
Ляжет навзничь, чешет брюхо,
Гладит бороду и грудь:
— Вот до пенсии, старуха,
Поскорей бы дотянуть!
Приносили бы мне на дом
Каждый месяц сот по шесть,
Со скребницей бы не надо
К лошадям в конюшню лезть!
Не слезал бы с теплой печи
И не думал ничего!
Ну к чему такие речи?
Вы спросите-ка его!
Даже слушать неприятно!
Человек ещё в соку,
Краснолобый, бодрый, статный, —
И лежал бы на боку!
А плясать! У, так и машет
Огневою бородой!
Молодого перепляшет,
Не тянись с ним молодой!
«Во саду ли, в огороде»
И «Камаринский мужик», —
У Степана всё выходит,
Как притопнет — пол дрожит!
Разве с хитростью, с подвохом,
С целью путает меня?
Соблюдает же неплохо



Он колхозного коня!
Поголовье держит в теле,
Сохраняет весь приплод.
Ведь не зря же, в самом деле,
Премируют каждый год!
Так зачем, забавы ради,
Он смеётся надо мной?
Мол, впиши меня в тетради
Вот таким, а я иной!

Он всё время почему-то
Надо мною шутит... Но
В эту самую минуту
Дочь вернулась из кино.
Разрумянилась дорогой,
От мороза вся горит
И от самого порога,
Раздеваясь, говорит:
— Я решила стать дояркой!
Не поеду в институт!

А Степан дымит сигаркой
И грубит, кричит про кнут.
— Как задам тебе, учёной,
Будешь помнить у меня!
Есть там кнут такой,
Крученный,
Для упрямого коня!
Да и мать перепояшу
Заодно разок-другой,
Чтоб она свою Агашу
Не тянула за собой
На луга, в коровник или
Вообще, куда не след!
Для чего тебя учили,



Шутка молвить, десять лет!
Лишний раз свою отсталость
Доказал, ехидный мой!
И Агаша посмеялась.
Покачала головой.
О дорогах молодежи
Толковала целый час...
— Ты уж старый, мама тоже...
Не уеду я от вас!
А учиться, — это, папка,
И заочно я могу!
Я люблю —
Хватать в охапку
Летом сено на лугу!
Аромат люблю цветочный,
Грабли легкие в руке!
Помнишь: мама о молочной
Говорила нам реке?
Сделать былью сказки эти_
Вот живём мы для чего!

Я гляжу: как будто ветер
Свежий дунул в моего
Огневидного Степана:
Трёт глаза, слеза видна!
Крякнул, словно полстакана
Выпил крепкого вина! —
Я с тобой согласен, дочка!
Где уж спорить мне с тобой?
Отступаю, дочка, — точка!
Коль решила, значит, крой!

То-то, рыжий, то-то, медный,
Ты ещё не знаешь нас!
А какую кашу, вредный,

Заварил он как-то раз!
Поднял шум в припадке гнева
И с обоих кулаков
Начал справа, начал слева
Молотить своих врагов!
Нет, не тех врагов, не внешних,
А своих, домашних, здешних.
Есть в колхозе Сёма Левый,
Долговязый и хромой,
Со своей супругой Евой
И к тому ж моей кумой.
То ей холодно, то жарко,
В поле вызвать нелегко,
А когда была дояркой —
Воровала молоко.
Воровала! Всё ей мало!
И хотя бы в чем нужда!
Я сама её поймала,
И с тех пор у нас вражда.
Не здороваемся даже.
Ох и Ева же! То нос,
То щека, то губы в саже —
Срамота на весь колхоз!
И летит такой неряхой
В сальном платъице своём,
И не Евой, а Евахой
За глаза её зовём.
Муж не лучше и не хуже.
В сенокос заснет в стогу.
Пьяный плачет, сидя в луже:
— Жить без моря не могу!
Дома Сеёма энергичный:
При дорогах и во рву
Для своей коровы личной
Приберёт он всю траву.



Между пнями, под кустами,
Где косою нельзя достать,
Жнёт серпом, дерёт руками
И готов зубами рвать.

Вот Копенкина Елена
Мне однажды и скажи:
— Сёма Левый косит сено
За кустами возле ржи!
Для себя он может, значит,
А колхозу — «не могу»?
Там и косит, там и прячет
За березами в логу.
Ева? С ним и эта кара!
Как осот да лебеда!

Запрягли коней мы пару
И поехали туда.
Сено Левых в час ли, в два ли
Погрузили — славный воз! —
Утоптали, увязали
И везём его в колхоз.
Наши земли, наш покос!

Едет Сёма на корове
И Еваха рядом с ним.
Мы поём да хмурим брови
И на встречных не глядим.
— Это где вы брали сено?
— А где брали, там уж нет! —
Вот какой дала Елена
Сёме правильный ответ.
Едем дальше — мать родная!
Сёма с нами на возу!
Рявкнул, вожжи отнимая:



— Дайте! Сам я отвезу!

Загремела перебранка...
— Отвезу и всё! Конеч!
Раз пошла такая пьянка —
Режь последний огурец!
Отвезу в колхоз, да, боже,
Да неужто же домой?!
Мы поверили. И что же?
Объегорил нас хромой!
Мы с Еленой к бригадиру,
Рассказали: так и так.
Тот к Семёну на квартиру,
А Семён ему свояк.
И замяли дело это.
Свой не выдаст своего!

А районная газета
Существует для чего?
...Рано-рано, до рассвета, —
Это было уж зимой, —
Бригадир ко мне с газетой
Прибегает, сам не свой,
Завертелся у порога,
Как сорока на суку,
И кричит нахально-строго
И грозит мне:
— Привлеку!
Ты ответишь, Фёкла, ибо
Надымила без огня!
Мой отец, ему спасибо,
Заступился за меня:
— Ты, Деняев, здесь не очень!
Расшумелся, как камыш!
Прибежал чуть не с полночи!



На свою жену кричишь?
Собралась там шайка-лейка,
Сват да брат да кум-завхоз,
И народная копейка.
Зазвенела псу под хвост!
Всех могу прихлопнуть фактом!
Ишь, спаялись там... умы!
Поросят списали актом,
Что подошли от чумы,
А копнуть на самом деле,
Всё поднять, раздуть пожар, —
Вы куда тогда их дели?
Кто возил их на базар?
Что, Илья, не правда, что ли?
А для собственных свиней
Кто возил пшеницу с поля,
Лишь бы ночка потемней?

Я стою, ушам не верю,
Крепко стиснула ухват,
А Илья притих у двери, —
Поднял шум и сам не рад!
А Степан кричит всё строже,
Так и машет кулаком:
— Председатель Шмаков тоже
Разложился целиком!
Разнесу всю вашу свору!
Лучше ты меня не зли!
Сколько сена прокурору
И за что вы отвезли?!

А на эту схватку нашу
И вошёл, в тулуп одет,
Секретарь райкома Яшин:
— Что за шум, а драки нет?



И вошёл он с этой шуткой,
Подходящею вполне,
И стоит в звеняще-чуткой
И неловкой тишине,
На того и на другого
Вопросительно глядит,
Мы молчим, и он ни слова
Больше нам не говорит.
Сел Деняев, из блокнота
Некий листик теребя,
А Степан увидел что-то
На ладонях у себя,
Держит их раскрытой книжкой
На полметра от лица,
И заминке этой слишком
Долго не было конца.
— Что у вас тут получилось?
Что за шум, за ураган?
— Да хотим сегодня силос
Открывать, — сказал Степан.
Вот и всё, и шито-крыто,
Повернули разговор.
Разве можно из избы-то
Выносить наружу сор?
Кровь мне бьёт
В виски и в темя:
«Что, лишилась языка?
Погодите, будет время,
Придержу язык пока».

Подаю тарелки, чашки,
Режу хлеб секретарю.
— Проходи, товарищ Яшин,
Проходите, — говорю.
Предстатель Яков Шмаков



В новой шубе тут как тут.
От мороза алым маком
Щёки сочные цветут.
Я давно уж примечаю —
Он в тревоге: почему
Секретарь на чашку чаю
Заезжает не к нему?

* * *

В этот вечер
Со Степаном
Повела я разговор.
— Нет, старуха, нет! Куда нам?
Не прихваченный — не вор!
Тут и Яшин не ломота!
Скажет: факты? Фактов нет!
«Воротилы» наши строго
Запорашивают след!
Мне от них убытку мало,
Обижаться не могу.
Нам хватает хлеба, сала,
Молока и творогу.
А какое там канальство
Кто творит в ночную темь, —
Есть для этого начальство,
Пусть оно следит за тем!
По судам я, слава богу,
Не таскался никогда,
И не знаю... и дорогу
Не желаю знать туда!
Раз у нас украли нетель —
И рукой махнул отец;
Сроду не был ни свидетель,
Ни ответчик, ни истец.



Председатель наш — хапуга,
Но опять же, хоть ты как.
Подводить нельзя друг друга:
Яков Шмаков мне свояк!
Я в чужой карман не лезу,
Н-но... задать бы мог вопрос:
Где он взял тогда железо?
Строил дом — откуда тес?
Дом явился, словно в сказке,
Две недели — и готов!
Всё, от краски да замазки,
Не от праведных трудов!
Да, списали на контору
Все железные листы!
Это так я, к разговору,
Я молчу — молчи и ты!

В эту самую минуту
Яков Шмаков дверью — бряк!
— Кто из вас заводит смуту?
Ты чего здесь на Илью-то
Расшумелся, а, свояк?
Про какие акты, факты
Молотил ты языком?
Мне неловко даже как-то
Говорить тебе о том!
Задеваешь прокурора!
Высоко хватаешь, брат!
Да тебя ж за это скоро...
Где Макар не пас телят!

А Степан вскипает грозно:
— Ничего себе слова!
Как, за правду? Ты сурьёзно?
Что ты мелешь, голова?!



Вас скорей согну в дугу я!
Ничего, достанет сил!
Шмаков тактику другую
Моментально применил:
— Фёкла, дай-ка три стакана!
Поллитровкой звеня,
Наливает для Степана,
Для себя и для меня.
— А капуста на закуску?
Вот за это молодец!
Нужно дружно жить, по-русски!
Вырвать с корнем, наконец,
Пережитки, те остатки,
Чтобы двигаться вперёд,
Как мы дёргаем из грядки
Лебеду или осот,
Так и злобу, недоверье...
Фёкла, пей! До дна, до дна!
Скрылись в комнате за дверью,
В кухне я сижу одна.
Только слышу:
— Все такие!
Все, свояк, в свой рот несём!

Я сестренке, Евдокии,
Рассказала обо всём.
Дуня молвила:
— Родитель
Их разнёс бы в пух и в прах!
Яков! Туз! Руководитель
Что же, всё в его руках!
У разбитого корыта
Он жевал с мякиной хлеб
А теперь им всё забыто,
Ко всему оглох, ослеп!

Залетел в такие выси —
Царь и бог он и герой!
Он забыл, что все зависит
От рыбёшки золотой!
Как всплеснёт хвостом сердито,
Закипит морская гладь,
И к разбитому корыту
Возвратится он опять!
Вот тогда пускай подышит!
Специальность? Никакой!
Еву с малой буквы пишет,
А оглоблю — с прописной!
На уборку кукурузы
Не годится человек:
Отрастил такое пузо —
Не согнуться ему ввек!
В пастухи? Мы не доверим:
Он овечек и коров
Заморит да стравит зверям,
Потому что спать здоров!
Поглядим, какой он в горе,
Как тогда повесит нос!
Вот собранье будет вскоре —
Поднимай, сестра, вопрос!
Поднимай! Ничуть не рано!
Надо сбросить этот груз.
Не ссылайся на Степана,
Если он хитрец и трус!
Засиделись мы с Дуняшей,
Ночь легла перед избой.
О сестрице, Наде нашей,
Речь зашла сама собой.
Надя любит похвалиться,
Что ей в жизни повезло,
Любит пышно нарядиться



Нам «на зависть и на зло».
Полагает, что на части
Нам сердца разорвала,
А она своё несчастье
Да за счастье приняла.
На работу ходит редко,
И заботы никакой.
— Я живу, как птичка в клетке
В золотой!

* * *

Вкусно, сочною капустой,
Под ногами снег хрустит.
Хоть на улице и пусто,
Но никто ещё не спит.
Из окошек струйки света,
Как холсты, легли на снег,
И поёт далеко где-то
Подгулявший человек.
Вот иду я, а навстречу,
Весь закутанный в тулуп,
Сторож наш, Матвей Заречный
Мелкой рысью: хруп-хруп-хруп!
— Ты, Васильевна? Здорово!
Я к тебе, а ты сама...
Убежали три коровы!
Прямо спятили с ума!
Двух вернул, а Хвёя, что ли,
Закреплёна за тобой,
За деревню, прямо в поле
Подалась и хвост трубой!
Как платочком, на прощанье
Помахала мне хвостом!
Не работа — наказанье



С разбалованным скотом!
Из колхоза «Комсомола»
Точно так же прошлый год...
— Фея? Ей же до отела
Остается... вот-вот-вот!

Пошагала с хворостиной
Я за глупую скотиной.
Что же ей, окажи на милость,
Что ей стукнуло в рога?
Может, там и отелилась,
Схоронилась за стога!
За стогами-то не худо,
Хуже, если где в лесу!
Как же, думаю, оттуда
Я теленка понесу?
Чем же я его укрою?
Полушубком? А сама?
Взять бы саночки с собою,
Поспешила без ума!
Приходила в те недели
Я сюда, на выпаса —
В те, когда кругом гремели
Перепёлок голоса.
А теперь здесь мутно, глухо,
Птицы смолкли... лес угрюм...
Лишь доносится до слуха
Ветра свист да снежный шум,
Я кричала: — Фея, Фея!
Не ждала такой беды!

Тёмный ветер, снегом вея,
Заметал её следы.
Я по снегу лезла к стогу,
Обойдя его кругом,



Выбиралась на дорогу
И опять чуть не бегом
К стогу темному другому,
Прочесала все кусты,
Обошла скирды соломы...
Нет, труды мои пусты!
Долго, долго так в потемках
Я скиталась средь полей.
Шелестящая поземка
Становилась все сильнее.

На исходе долгой ночи
Добираюсь до жилья.
«Ну, Деняев, всё! Как хочешь!
Посылай людей, Илья!
Посылай, Илья, скорее,
Если только та чума, —
Да, чума она, не фея! —
Не пришла домой сама!»
Находилась по сугробам,
Еле ноги волочу...
И в сенях, перед порогом
Я замешкалась чуть-чуть.
Слышу, вроде неприятный
Происходит разговор.
Я прислушалась... понятно,
Про Степана, видно, спор.
Он хотел добиться правды!:
Правду слопала сова!
Он, теперь, Илюша, рад бы
Взять назад свои слова,
Да уж поздно! Близок локоть,
А зубами не достать!
Под конвоем будет топтать
Года три, а то и пять!



Перед ними поллитровка,
Перед ними огурцы...
— А придумали мы ловко!
Нет, ей-богу, — молодцы!
Пусть поищет ветра в поле!
Мы, свояк, возьмём свое!
Да хотя бы волки, что ли,
Наскочили на неё!

Я смотрю: под левым глазом
У Ильи кровоподтек.
Лоб платочком перевязан...
— Мне бы, Сёма, невдомёк,
Ты придумал распрекрасно,
Шут, на выдумки горазд!
И собранье, как по маслу,
Без неё прошло у нас!
Дунька вострая, как шило,
Так везде и сует нос,
Но, однако, не решилась
Без сестры поднять вопрос!

И пошла я... Вянут уши.
Снег зелёный, как трава.
Ох вы, пропитые души,
Я найду на вас права!
Подберут вам наказание,
Только вот дождаться дня!
Это значит — от собранья
В поле выгнали меня!
А Степан? А что мололи
Про Степана свояки?
Подрался он с ними, что ли?
Он поставил синяки?
Тут же сторожа Матвея



Как взяла я в оборот!
— Ну, Матвей, куда же Фея
Побежала от ворот?
Как хвостом-то помахала?
Как платочком, говоришь?
Не считала за нахала
Я тебя, — эх, старый шиш!
— Ты ушла с полкилометра,
А она бежит домой!
Я шумел, да против ветра
Не осилил голос мой!
— Врёшь, Пахомыч! И не стыдно?
Продался ты за вино!
Жаль, что глаз твоих не видно,
Поглядеть бы в них! Темно!
Говори, по чьей науке
Ты такое? Скажешь, нет?
Ох, Матвей, за эти штуки
Понесёте вы ответ!
— Не страшай меня, Феклуша, —
Отвечает мне Матвей. —
Слушал я — и ты послушай!
Ты беги домой скорей!
Обыск был у вас в амбаре,
С фонарями, в три часа!
Да, нашли! Да, в мешкотаре!
Тридцать два кило овса!
Что такое, бог ты мой!..
Прибегаю я домой, —
В кухне шум стоит: Агаша,
Яков с Наденькой своей.
Шмаков скорбно:
— Глупость наша!
Красть овёс у лошадей!
О, теперь за это круто!



И опять же —
Больно смел:
На Семена да Илью-то
С кулаками налетел!
При милиции в амбаре
Размахнулся рыжий твой —
И Деняева — по харе
И Семена — вот какой!
Загорелся, как солома!
На огонь-то есть вода!
И связали... Жил бы дома
Тихо-мирно до суда!
Входит Яшин Петр Иванович
И Дуняша наша с ним.
Что со мной случилось за ночь —
Всё рассказываю им.
Срочно вызвали Матвея.
— Отвечай-ка нам, Матвей,
Кто послал тебя за нею?
Да, за Феклою, за ней!
Видит сторож: здесь начальство, —
И стоит без языка.
И покинуло нахальство
Скомороха-старика.
Из пимов торчит солома,
Видно, некогда подшить...
— Я начальнику райкома
Все обязан доложить...
Борода-мочалка взмокла,
Таёт иней по усам.
— Кто послал меня за Фёклой?
Председатель! Лично сам!
Я кривить, юлить не стану!
Яшин дальше:
— А овёс?



А овёс на двор к Степану
Кто принёс? Или привёз?
— Сёма Левый! Тут старанье
И Деняев приложил.
Сам Степан-то на собранье
В это время, видно, был,
Фёкла там ходила, в поле,
За... сказать, за Хвеей той,
Дочь была... на танцах, что ли?
Двор стоял совсем пустой.

* * *

Мне приятней бы цветочки
Заносить в мою тетрадь,
А не ямы, а не кочки,
Не ухабы рисовать, —
Что же делать? Чистим печки,
Выгребаем золу-шлак,
Очищаем русло речки
От грязищи и коряг.
Льнёт река волною синей
К светлым травным берегам,
А на дне, под скользкой тиной,
Притаился разный хлам.
Кран, послушный человеку,
Скомкав войлок камыша,
Опускает руку в реку,
Развернув ладонь ковша.
Проскребеё речное днище
Богатырская рука,
Чтоб росы светлей и чище
В берегах текла река!
После всех иду с собранья,
Вот сосновый новый дом.



Гуще, чем другие зданья,
Тьмой окутан он кругом.
Вот свечу на подоконник
Надя ставит. Почему?
И казалось, что покойник
В этом сумрачном дому.
Распускает Яков нюни.
Что ж? Придётся отвечать!
Вот тогда-то нашей Дуне
И вручили мы печать.
Председателем артели
До сих пор у нас она,
И ловка во всяком деле
И во всех делах честна.
В сорок пятом,
Под Варшавой,
Пал её Сергей со славой.
С фотографии портрета
В рамке светло-голубой
Он,
Зарытый в Польше где-то,
Смотрит,
Вечно молодой.
Смотрит гордо он и строго,
Как живёт его вдова.
У неё уже немного
Поседела голова.
С их мужьями
В край далекий
Проводила дочерей,
И давно уж одинокой
Видит Дунюшку Сергей.
Как пословицу Дуняша
Повторяет много лет:
— Нелегка дорога наша,



Но другой дороги нет!
Да! Коровушки нередко
Рады были камышу,
И берёзовые ветки
Им крошили, как лапшу.
До того дошло: с Дуняшей
Мы поплакали тайком
Над скотиной бедной нашей
И поехали в райком.
— Петр Иваныч, я не в силе!
Скот на грани падежа!
Или корм давайте, или...
Или режьте без ножа!
И пока не получу я
Положительный ответ, —
Я не выйду, здесь ночую,
Обживу ваш кабинет!
Есть богатые колхозы,
Пусть они помогут нам!
Села Дунюшка, а слезы
Ливнем льются по щекам.
По его лицу мне видно:
Тяжело секретарю!
Просим помощи! Мне стыдно!
Как в огне я вся горю.
Дуня молвила, поплакав:
— Сами знаем: стыд и срам!
Но такое Шмаков Яков
Передал наследство нам.
Стало тихо, страшно тихо!
Слышим — Яшин в телефон:
— Сколько есть на окладе жмыха?
Срочно нужно двадцать тонн!
Тем и кончилась беседа.
Жмых рогатых наших спас.

Мы с победой. Но победа
Мало радовала нас.
Долго ехали обратно,
Вяло, с горем пополам.
Всю дорогу неприятно
Отчего-то было нам.
Словно по миру ходили
Мы с холщовой сумой.
Лошаденка наша в мыле.
Сбруя — срам, махни рукой!
Били лошадь хворостиной,
И вожжами, и бичом.
Отвечай за всё, скотина,
Не повинная ни в чём!
— Нужно, Дуня, не просить,
А косить! Косить, косить!

Дальше что? В конце июня
Две бригады косарей
Повела, как в битву, Дуня
На осоку и пырей.
В сапогах залезла в кочки,
В старых брюках, а за ней, —
А за нею вышли дочки,
Вслед за матушкой своей,
А за ними их подруги
И подруги тех подруг...
Блещут кос стальные дуги,
Обегая полукруг,
То налево, то направо
Вдоль болотных берегов,
И срезаем с кочек травы,
Словно волосы с голов.
Чисто бреем до затылка!
Между кочек грязь, вода,



И поэтому косилку
Не затащите сюда,
Поломает ногу лошадь,
А машина колесо,
И освоить эту площадь
Можно только лишь косой.
Раскраснелась Дуня, взмокла,
Утирается платком.
— Ну, теперь за сеном, Фёкла,
Не потащимся в райком?
— Председатель? Неужели? —
Удивлялись старики,
И с почтением глядели
На неё из-под руки.
А потом —

 потом коровник
Мы построили другой.
Под рукой у нас кедровник,
Да кедровник-то какой!
В небесах шумит верхушка —
Даже сучьев не видать!
Закукует там кукушка —
И кукушку не слышать.
Поклонились мы сыр-бору,
Поклонился нам сыр-бор,
И с тех пор пошли мы в гору.
Восемь лет прошло с тех пор.

* * *

В областной газете очерк.
— Вот, Степан, гляди, читай
Расхвалили дочку очень,
Но отнюдь не через край.
Нет, всё правильно, всё в норме,



Никаких излишеств нет:
Как коров Агаша кормит,
Как доит их. И портрет.
С фотографии-портрета
Смотрит вдумчиво она,
Просто, скромненько одета —
И красива, и умна!
Я три раза прочитала.
Кое-что и обо мне:
Я такую воспитала!
Что же? Правильно вполне.
Не сама собой Агаша
По моим пошла стопам,
Я её вводила в наши
Интересы... А Степан...
Таёт, таёт, словно свечка,
Постарел на десять лет,
Потому что ни словечка
Про него в газете нет!

— Воспитала дочь такую
Ты одна, в тебе вся соль!
Разве я не существую,
Я пустое место, ноль?

А на днях пришёл с конбазы,
Только ногу на порог, —
Огорошил словом сразу:
— Так и вышло! Я пророк!
Вот и весь рассказ, и точка!
Он закончил разговор.
Сел на стул, брусочком точит
В пятнах ржавчины топор.
Я спросила:
— Что случилось? —



Сам с собой ворчит Степан;
— Наняла, скажи на милость,
Растопырила карман!
Сами плотничать умеем,
На работе век стоим.
Надавал бы я по шеям
Тем «шабашникам» твоим!
По колхозам ходят, рыщут,
Носят пилы, топоры,
Без стыда гребут деньжищу,
Строят скотные дворы!
Я предвидел эту штуку!
Говорил я людям, мать,
Что неммысленно нам руку
За Авдотью поднимать!
Прогорим мы с этой дамой!
Хорошо идут дела!
Строить клуб-то этот самый
Посторонних наняла!
Будем помнить Дом культуры!
Обойдётся он как раз...
Да они ж дерут три шкуры,
Не с неё дерут, а с нас!
И откуда налетели
К нам отходники-грачи?.
Кроме платы, от артели
Им положены харчи!
Нет,
Покуда я не помер,
Не пройдёт им этот номер!
Побежала я к Дуняше:
— Почему такой расход?
— Потому что, Фёкла, наши
Будут строить целый год.
Слишком, слишком хладнокровно!



Перекуры с дремотой!
Сядут рядышком на брёвна,
Разговор ведут пустой.
Тянут прежнюю резину.
Тот, глядишь, совсем исчез,
Взял ведро или корзину
И за ягодами в лес.
Тот — выделывать овчины,
Этот — резать кабана.
У четвертого — причина:
Собралась родить жена!
Ох, уж эта стройбригада,
Даже злость меня берёт!
Не хотите — и не надо!
Я найму! За ваш же счёт!

А наутро рано-рано,
Дым ещё не шёл из труб, —
Под водительством Степана
Наши плотники — на сруб!
И летит за щепкой щепка,
Говорит с бревном топор.
Те, чужие, спали крепко.
Встали, вышли — вот и спор!
Вызывают Евдокию.
— Как же так? Нас наняла!
Дуня нашим:
— Вот какие! —
И руками развела. —
Если так, я очень рада,
Откровенно говоря,
Только клуб закончить надо
К середине октября,
Не шумите вы,
ребята! —



Тем «шабашникам» она, —
Я ничуть не виновата,
В чём же тут моя вина?
Рассчитала их без фальши
За два срубленных венца,
И пошли куда-то дальше
Все четыре молодца.
Наши так взялись за дело!
Почему? Да потому!
Самолюбие задело
И карманы плюс к тому!

* * *

Снегири в мороз, как розы,
Заалели на снегу.
Поднялась метель — берёзы
По-медвежьи гнёт в дугу.
А наступит зимний вечер —
Снег набухнет синевой.
Носим воду, топим печи,
А мороз палит, как зной.
Но в тепле стоят коровы,
Сеном ягодным шурша,
Всем довольны, все здоровы, —
Не болит о них душа.
Так приятно, так уютно
Мне становится самой!
Ночь большая, в поле мутно.
Звери шлеются зимой.
Подойдут порою волки
Близко к скотному двору,
Сторож трахнет из двустволки,
А собаки —
воздух рвут!

Поворачиваться надо
В это время года нам.
Прирастает наше стадо
Не по дням, а по часам.
Ночи зимние богаты,
Полчаса пустого нет:
То теленок, то ягнята
Появляются на свет.
Мечут наши свиноматки
По двенадцать поросят.
Только вышли поросятки
Из утробы — голосят.
Вот явилась дочь коровья,
Чёрно-пестренькая, в мать.
Ах, чихнула! На здоровье!
Надо имячко ей дать!
Принимаю и вторую,
Тоже телочку-красу,
До телятника, сырую,
Через двор её несу.
В эти ночи и на звёзды
Небывалый урожай.
Сколько их! Какая бездна!
Хоть лопатой нагружай!

* * *

Клуб районный. Сцена. Зала.
Говор льётся, как ручей.
Вот сегодня я узнала,
Что такое юбилей!
Секретарь райкома рядом
За столом сидит со мной
И чертит перед докладом
В пухлой книжке записной.



...Два проворных человека
Подсчитали, с потолка,
Сколько я за четверть века
Надоила молока.
Впрочем, так и есть, примерно, —
Целый поезд наливной,
Шестьдесят одна цистерна!
Ну, одну-то пусть долой,
И не так уж можно точно.
Вот в чём дело-то, сынки:
Это есть приток молочный
Нашей сказочной реки!

* * *

Солнце мартовское лижет
И обсасывает снег,
Словно сахар, и всё ближе
Подвигаемся к весне.
Март проходит.
А в апреле
Снова в поле я схожу, —
Слушать жаворонков трели,
Откровенно вам скажу!
В сапогах мужских иду я.
Тает в лужах тонкий лёд.
Ручейки текут. И Дуня
От меня не отстаёт.
Пахнет сладко, горьковато
Прошлогодня польнь,
И зовёт, манит куда-то
Светом залитая синь.
Там, за маревом кисейным,
И не так уж далеко,
В берегах течет кисельных...



Ох, да что там — молоко!
Мог голодный лишь такую
Сказку... Щи, кисель, блины!
Мы по-своему толкуем
Предсказанья старины!
Сыплет солнышко горстями
Свет, теплынь для всей земли,
И с хорошими вестями
Пролетают журавли.
Скоро сеять.
А в июне
Зацветет фруктовый сад,
Ветерок легонько сдует
С яблонь тонкий аромат,
Разнесёт его повсюду, —
Это что ж за благодать!
Это сказка,
 это чудо,
И пером не описать!
Соберётся возле клуба,
Затанцует молодежь,
Поглядишь, и сердцу любо,
И сама плясать пойдёшь!
Вот, смотрите,
Молодые,
На ухваточку мою,
Вот послушайте, какие
Я припевочки пою!
Молодежи стало много,
Девки, парни — хоть куда,
И от сельского порога
Не стремятся в города,
А рвались, рвались когда-то!
Как остригли наголо
Парня, годного в солдаты,



И прости-прощай село!
После армии сыночек
Навестит родную мать —
И в дорогу: он не хочет
Ни косить и ни пахать.
Помахал нам ручкой правой!
А теперь — другой вопрос:
Срок отслужит парень braveй —
Возвращается в колхоз.
Два комбайна мы купили,
И купили трактора,
И гудят автомобили
У колхозного двора.
Есть машина легковая.
Дуня любит говорить:
— В ней бы дедушку Исяя,
Если б дожил, прокатить!
Въехать в рощу, на полянку, —
Размечтается она, —
Взять бы скатерть-самобранку
Да бутылочку вина,
На кусты —

баранок связку!

Вот, мол, дедушка Исай,
Тут и был тебе, и сказка,
Комары тебя кусай!
Он сказал бы:
— Верно. Точно.
Вот та самая земля!
А насчёт реки молочной
В берегах из киселя?
— Ах, река-то?
Оглянись-ка!
Видишь, дедушка, коров
Меж пшеничных, колосистых,

Золотистых берегов?
Видишь рыжих, видишь белых,
Красно-пёстрых и других,
Кругорогих, крупнотелых?
Сосчитаешь, сколько их?
Что, неграмотный, не в силе?
Знаешь, сколько молока
За полгода надоили?
Речка, если не река!

* * *

Вот могилка под травую,
Где почта уж сорок лет
К двум берёзам головою
Спит в лаптях
Наш сланный дед.
Рядом с вишенкою малой
Два калиновых куста,
И цветёт шиповник алый
Возле серого креста.
Под звездой пятиконечной
Улеглись отец и мать
На покой, на отдых вечный..
Что ещё могу сказать?
Неба полог синий, синий,
Как озёрная вода,
И березник, и осинник,
И опять стада, стада...
Мы идём. А в поле тихо.
Тают, тают облака.
А цветущая гречиха —
Как молочная река!

1958—1960 гг.



Ни дня без стропки

То вестиб.

I

19. VII. 63

Восемь часов утра. Облачно, а жарко. По радио передавали, что сегодня ожидается гроза. Да, в середине июля гроза вполне возможна.

Два раза съезди за водой. Три раза пройтись по кебичах. Нука ходила со мной за водой, но болела бежать по улице не могла, попросила Дашку, на двор, ну, на часочке, а в свободной, будь и водичка, и кусочки.

Ваня полная, пройдёт машина — столько мы ли потычим!

Позавчера был в перхмассерной. Волос убавили, а знати добавили: пока африкли, говорили о происшествии: Ваичева, Ольга забла, в больнице, втрой раз даю не приходит в сознание — кабанчик на машине, а машина на болотной скорости и на крутой повороте перевернулась. Я у мужа Ваичева, наладившего в этой машине, склеили по боковым сиденьям. Второе происшествие: Лёпка Попомов, знаковая мне шофёр, ехал на самоходе и задвину колесо, скатился на велосипед. Третье происшествие: Даша убилась майо. Майо взяла Дашку в сберкассу, но она была на у соседки, а Даша на знала злого, Даша, что деньги у мабери, убилась ей, Да, хотишь, зря.

Маша убавит, маме утратит в убавит.

Собрался ехать в село, куда напоминать по рохон. Убавит карбонка.

Хотим за болотками в самотную маберику, были 50 мабери в маберику — маберику, и врант село.



44

Буревестник

Б У Р Е В Е С Т Н И К

В сокращённом виде —
как вышедшие карандашом —
6. габду «Св. Вост.» К
100 слово Голубовича — К
миру 1968 г., а также
в Копе 1967 г. —
Остатки 850 страниц
Открытые — рукописные,
печатные, микрофильмы
с листа, при береж. с. т. н.
В. Андерс... и т. д.

1000 стр.

М. Кубачкин
Большое, Октябрьское, 22.

«СИБИРСКИЕ ОГНИ»
Выпущена № 965/1967
11 сентября 1967 г.

Б У Р Е В Е С Т Н И К

я в мир пришёл,
чтобы не соглашаться.

М. Горький

Он в мир пришёл -- не соглашаться!
На бой пришёл, а не ~~на~~ на пир.
Он в мир пришёл, чтобы вмешаться
в осатаенный этот мир,

Срывать, сметать и гниль и плесень,
Будить, тревожить, бить набат,
И зёрна новых, смелых песен
На дне души его лежат.

Враг злобы, скорби и страданий,
дояни нив, лесов и рек,
Враг нищеты людских желаний --
Вперёд и -- выше, человек!

В простор широких озарений
Идёт сквозь ночь, сквозь дым, сквозь снег
Не тварь дрожащая, а Гений!
Вперёд и -- выше, человек!

И в бесконечной тьме Вселенной
Ускорь своей планеты бег,
Великий, мудрый, дерзновенный,
Вперёд и -- выше, человек!

стр. 9



Проза



В СТЕПАНОВКЕ

I

Во все стороны от деревни Степановки уходят поля. Неоглядны непаханные массивы, залежи, пустоши, обширны покосы — в урожайный год не успевают выкашивать траву. Высокий пырей засохнет осенью, завалит его снегом, вымочит в весенних водах, а потом он, серый, как прошлогодняя солома, сгорит на корню — пускают весной палы для очистки лугов и пашен. Каждый год в районной газете печатают постановление райисполкома, запрещающее пускать палы, — и каждый год огонь, раздуваемый холодными майскими ветрами, буянит в высоких зарослях полыни, подбирает валежник в перелесках, мажет копотью, как дегтем, стволы берез, слизывает осоку с болотных кочек, и белый, сладкий дым стелется над полями, поднимается к поющим жаворонкам и тает там.

Но вот ветер смахнул с обожжённых полян чёрный пепел, и как-то слишком уж поспешно и радостно, весело выскакивают молодая травка и цветы на мохнатых ножках, и уже поют и кружатся над ними шмели и пчёлы.

К северу от Степановки — сырая низина, плоская, как вода, но только вся в кочках, и зарастает она густой осокой. Здесь живут чибисы. В нашем селе их называли не чибисами, а пигалицами, а ещё трясучками: поднявшись над осокой, они висят на одном месте, трясут крыльями и неприятно, визгливо вскрикивают, а когда идешь один, они совсем низко проносятся над головой и явно намереваются ударить клювом. Однако не решаются. Спикируют, прощупают крыльями над самой шапкой — и с визгом взвываются.

А вот широкий мягкий бугор. Он так густо покрыт цветами, что кажется — семена их сыпали кучами, из лукошка вытряхивали. На бугре стоят и лежат коровы, утомлённые зноем, одна вошла по колено в болотце и лениво бьёт себя по бокам мокрым хвостом.

Около стада лежит в траве и цветах пастух Сергей Власов, с маленьким сморщенным личиком, с белой, как облачко, бородкой. Глядя на него, можно подумать, что он держит во рту что-то очень кислое — челюсти сводит, дух захватывает, вот какое кислое! Около него сидит чёрный песик. Пёсик понимает, что пастух плохо видит, и поэтому надо глядеть в оба и держать ухо востро. Вот эта противная, крайне недисциплинированная корова опять подбирается к пшенице — и возмущённый песик летит, словно им выстрелили. Разгильдяйка отбивается, лягает его задними грязными копытами, но, однако, подчиняется, бежит туда, где ей положено быть. И собачка, довольная собою, возвращается на место.

В небе нарастает гул, рёв. Пастух поднимает голову. Опять группа самолетов летит с востока на запад. Война! Здесь, в Западной Сибири, так тихо, такая травница, столько цветов, и не верится, что где-то там, далеко-далеко за Уралом, идут бои, горит железо, горят хлеба, льётся кровь, и по пыльным и дымным дорогам тянутся вереницы беженцев. Старичок Петровский говорил вчера:

— Эта война, согласно библии, будет сорок два месяца!..

Сергей Власов с сомнением качает головой. Врет Петровский! Не должна эта война быть долгой, вон техника какая. Месяц, два — и всё затихнет. «По библии!..» Библия когда составлялась? Как могли предсказать такое? А Петровскому верить нельзя. Был слушок, что до революции он пароходами владел, миллионами ворочал.

Самолёты растаяли в голубой дали.

— Побьют! — говорит Сергей. — Наши да не побьют?!

С тех пор, как организовался колхоз, Власова по старости ни разу не занесли в списки трудоспособных, а теперь он пасёт коров и овец — два стада слили вместе.

Рожь выметала длинный колос. Тянутся полоски картофеля в лиловых и белых цветочках. Жмутся одна к другой молодые берёзки, теснимые со всех сторон хлебами.

Вечером багровое пламя широко охватывает западный край неба, неподвижно стоят там раскалённые докрасна облака. Дарька Палатова, опершись на грабли, смотрит туда и думает о своем Илье. Илья защищает родину, вот эти привольные просторы, эти берёзы. Многие из Степановки ушли туда, поэтому на полях теперь больше платков, чем картузов. Фроська Барабанова учится работать на сенокосилке. Подобрал юбку, покачивается она на упругом стальном сиденье, гремят чугунные шестерни, мечется внизу пила, подсекая траву и цветы.

Призвали на фронт председателя колхоза Якова Климова. Стали думать колхозники, кого избрать вместо Якова. У Васьки Барабанова сладко замерло сердце. Его, его, Ваську, выбирайте! Он хромой, в армию его не возьмут. Он будет хорошим председателем. Не уронит хозяйство! Все поставки выполнит! Красивая Фроська считала себя несчастной — вышла замуж за Ваську, рябого да хромого, а теперь увидит, что она, наоборот, самая счастливая. Все ушли воевать, а у неё муж дома, да ещё и председатель колхоза, сидит в конторе, подписывает разные бумаги, ставит печати, разговаривает по телефону с секретарем райкома. Ходить Васька — впрочем, уже не Васька, а Василий Захарыч или товарищ Барабанов, — ходить будет в новых сапогах, начищенных до зеркального блеска, в вышитой белой рубахе...

— Моё мнение, товарищи граждане, — приятным, слегка рвущимся старческим голосом сказал Максим-печник с плотной седой бородкой и с палкой в руке, — моё мнение...

«Василия Захарыча Барабанова», — мысленно подсказал Васька.



— ...Никиту Палагина выбрать в председатели, — закончил Максим-печник отвратительным, гусиным голосом, не подозревая, что зарезал человека, без ножа зарезал. — Никита уже стар годами, на войну не должны взять ни в каком разе. Старательный, мы его хорошо знаем. Глупостями никакими не занимается.

«А я? — мысленно спрашивал Васька. — А я глупостями занимаюсь?»

Но что будешь делать? Не крикнешь: меня выбирайте!

Собрание было на улице. Васька сидел на бревне около плетня, рядом с горькой полынью, и думал о том, где, у кого сможет достать он бутылку самогонки, чтобы залить обиду.

Вина в магазине нет, все бутылки исчезли с полок, как только по радио объявили о войне. И веселье пропало. Вечером в деревне ни песен, ни плясок, замолчала гармонь. Как-то по-страшному всё притихло, и ветер по ночам не поднимался, и слышен был всякий шорох, корова вздохнёт в пригоне — и то слышно. И круглая луна глядела на землю в недоумении, силилась понять: что там случилось?

Яков Климов передал Никите Палагину печать вместе с грязным кисетиком, в котором носил её, и долго рассказывал новому председателю, что ему теперь делать в первую очередь, что во вторую. Хлебопоставки, мясopоставки, молоко, шерсть... Да мало ли что там ещё?!-

— Вот так, Никита Петрович. Сейчас всё это нужно наравне со снарядами. Народ у нас хороший, дружный, работающий, гору своротить можно с этим народом, только имей подход к людям. Не окриком, а убеждением, лаской.

А Никита и слушал и не слушал. Он знает, как обращаться с народом, Палагина учить нечего. Было и приятно, что ему оказали такое высокое доверие, и страшновато. А вдруг не управится с уборкой, хлеб на корню останется под снегом... что тогда? Тюрьма? И, рисуя в своём воображении «подсудимую скамейку», мешочек с сухарями, заплаканную жену, он смотрел на мясистое, малиновое лицо Якова, на его большие, жилистые руки и думал о том, что не очень-

то весело будет тому фашисту, на которого Яков — где-то на зелёном бугорке, один на один — двинется со штыком.

«Да уж... двинет так двинет! — думал Палагин с гордостью. — Пырнёт так пырнёт! Даст русской земли! Если б не мои годы, пошёл бы я лучше на позицию, а тут вся душа изболит у меня, изноет. Хлопот-то, хлопот-то, чтоб те око-леть!»

— Траву не бросай косить до самой осени, и не до осе-ни, а до белых мух, — говорил между тем Яков, а сам гля-дел, прищутив глаза, в окошко, и ясно было, что мысли его далеко отсюда. — Выдели небольшую бригаду, человек пять-шесть хотя бы и... Кто это едет там верхом? Галопом скачет!..

А вдруг человек скачет с радостным известием, что во-йна кончена? Внезапно началась, внезапно и кончилась. Нет. Это Васятка Дударь скачет в кузницу, в руке держит проволоку с надетыми на нее двумя шестерёнками.

— И пусть косят. Солому всю подбери, сложи в скир-ды — зимой понадобится.

— Я уж думал про это! — сказал Палагин глухим ба-сом и тяжело вздохнул. — Не только, что касается соломы, Яков, а и листву опавшую соберём в колках, и листву съест скотина, ей-богу. А зимой чего возьмёшь в поле? Снег?

Вечером Яков пришёл в контору чисто выбритый и в праздничном пиджаке, а на груди медаль «За отвагу», полученная на войне с белофиннами.

— Ну, — сказал он колхозникам, а вернее — колхоз-ницам, так как на собрании на десять платков приходилось не более одной фуражки, — оставайтесь тут. Одна у меня к вам просьба, товарищи женщины, так же и вы, мужики, какие есть пока в Степановке, живите дружно, как никогда. Работайте... тоже, как никогда, не жалея сил. Мы — там, вы — здесь. Выдержим! Не имеем полного права не выдер-жать! Дети наши вырастут, что они скажут нам, если фаши-сты поработят? Что же вы, скажут, такие-сякие, какую нам судьбу уготовили? А?

Кто-то всхлипнул...

Вместе с Яковом отправлялся в военкомат Гришка Дунаев, и Яков зашёл к нему рано утром. Гришка стоял посреди избы с клетчатым мешком в руках.

— А ложку? — спросил он.

— Господи! — заметалась Катерина. — Да неужели я не тово... не положила?!

Ребятишки — их было четверо — проснулись на печи, сначала смотрели, как собирается тятка, потом начали перешептываться, затем подрались. Петька стукнул по стриженной башке Маньку, Манька взвизгнула и поцарапала ему нос.

— Ну! — крикнула мать и подбежала к печи. — Вот он, шутильник-то! Как начну шутильником всех подряд!

Притихли. Шутильником мать называла сковородник, когда он превращался в орудие усмирения.

В военкомат поехали вместе с новобранцами и жены, и ребятишки, и матери-старухи. На широкой зелёной поляне около военкомата — словно ярмарка в праздничный день.

Народу! Женщины принарядились: хотя и горе, но не выходить же на люди растрёпой.

Ларьки торговали съестным и безалкогольными напитками. Какой-то человек рассказывал собравшимся вокруг него, что после упорных боев наши войска оставили город К., а рядом играла гармонь, и призванные на войну выходили в круг плясать, кто умел. Вышел и Гришка Дунаев. Достал из-за голенища деревянную ложку, другую попросил у товарища и, топая, крутясь, стал постукивать ложками, помогая гармошке, а за спиной у него плясал, подпрыгивал бился клетчатый мешок с последними домашними лепёшками, и позвякивала синяя кружка, надетая на лямку...

Вернувшись с покоса, Фроська пришла к Дарьке Палатовой. Долго сидели они за столом и думали, что теперь де-

лать, как жить. Вот скоро уборочная, хлеба уже налились, а готовы ли машины? Верно, все видят, что машины стоят около кузницы, кузнец с молотобойцем, — кузнец одноглазый, а молотобоец не достиг совершеннолетия — каждый день с утра до вечера складно, ладно стучат молотками, но надо всё знать — и сколько машин, и когда они будут готовы, и кто станет работать на них. В прошлые годы убирал хлеб сноповязалкой Аким Кувшинов, а теперь Аким на войне — кто заменит его?

Было уже совсем темно, когда Фроська с Дарькой пришли в контору. Никита Палагин один сидел за столом и думал. В те дни все думали. Каждый день на лугах трещат сенокосилки, колхозницы собирают граблями просохшую траву, мечут сено в стога, но будет ли заготовлено сена на всю зиму — этого Никита не мог сказать.

— Вот по какому делу мы пришли к тебе, дядя Микита, — начала бойкая Фроська, присаживаясь против него к столу.

Палагин сразу не полюбил, когда его стали называть председателем: страшно как-то, а вот дядя Микита — это лучше, меньше ответственности, не официально, подомашнему. В случае чего такого — какой я председатель, граждане судьи? Я дядя Микита. А с дяди Микиты какой спрос?

Палагин слушал Фроську с тревожным вниманием, потирал руки, гладил, а вернее сказать — лохматил широкой ладонью широкую бороду.

— А ведь это... тово! — воскликнул он, как только Фроська кончила, и вскочил на ноги, затоптался возле стола. — Обрадовали вы меня, ей-богу! Пособляйте мне, что касается, ей-богу! Вы сами знаете, какой я председатель. Хотя и выбрали, а какой я руководитель, положила руку на сердце? Три класса не закончил, ей-богу! Уже закружился, и пища на ум нейдет в эти дни. То надо, другое надо. Вот вы говорите: сено. И я про это думаю, ей-богу! Плохо косим. Не по-военному! На пятьдесят процентов план выполнили,

а ведь скоро хлеб убирать надо, бросать сено-то придётся. Вот запятая где поставлена, ей-богу!..

Решили начинать работу по звонку. Фроська внесла такое предложение. На другой же день Палагин сам вкопал посреди Степановки берёзовый столбик, на столбик повесил кусок рельса. В мирное время на работу собирались, как придется: кто рано пожалует, кто поздно, а кто и совсем не явится, а теперь надо выходить всем вместе, дружно и пораньше.

— Первый звон — подымайся, печь затопляй, завтрак вари! — пояснил Никита. — Второй звон — всем на месте быть, как штык!

— Эдак лучше! — одобрил Канифат Умнов, доморощенный ветеринар и зоотехник. — Иначе нельзя, граждане. Тем более, часы не у всех есть. А у кого и есть — идут не правильно, а как им вздумается. Это посмотрел я: у Кузьмы Фомича восемь часов, а через пять минут пришёл к Лапшинёнку — у того семь с половиной. Вот тут и разберись по нашим аккурантам! Неаккуратно идут! Это только кремлевские аккуранты аккуратно идут!

И вот, как только первый степановский петух возвестит зарю, Никита Палагин ударяет кувалдой по рельсу.

— Ну, — говорит кто-нибудь, проснувшись в темной избе, — наш ей-богу уже благовестит. Никогда не проспит ей-богу!

II

Солнце ещё не взошло, на траве лежала седая роса, когда Никиту Палагина встретили среди улицы старики. Никита, проводив бригады в поле, спешил в контору подписывать сводки о заготовке кормов, о ремонте хлебоуборочной техники. Сводки составляла молоденькая учительница Зоя Григорьевна, временно заместившая счетовода. Счетовод Соловьев, часто писавший в районную газету стихи и заметки, ушёл воевать, а с Зоей Григорьевной была у него боль-

шая дружба, да что там дружба, надо уж прямо говорить — любовь, и теперь ей было приятно делать то дело, которым много лет занимался он, — всюду она видела его почерк.

— А мы, Петрович, к тебе, — сказал Лаврентий Скорик, подняв узенькую, желтую, похожую на морковку бородавку и часто моргая слезящимися глазами. — Давай нам работу!

Палагин подумал, почесал бровь.

— Вот что. Ты, Лаврентий Федотыч, и ты, Борис Ефимыч, топоришки возьмите, ей-богу, скотные дворы поправлять надо, в негодность пришли. А ты, Дорофей Сергеевич, сено повезёшь в Степное на сенной пункт...

Дорофею понравилось задание.

Подставив ласковому солнцу седую голову и костлявые плечи, покачивается он на высоком и широком, мягко пружинящем возу, держит травинку в зубах и, щурясь, посматривает по сторонам. Размахнулась Сибирь-матушка во все стороны, не изуродована земля ни горами, ни оврагами. Плавными увалами то поднимаются, то опускаются и вновь поднимаются поля и уходят на юг до голубых, отселе невидимых Алтайских гор, а на север — до самого Ледовитого океана.

Не пришлось учиться Дорофею, еле расписаться может, а поговори с ним — и не поверишь, что он неграмотный: расскажет о глубине океанов, о тайге и тундре, о Петре Великом и про шута Балакирева. Внуки учатся в средней школе и зимними вечерами рассказывают и читают деду, а он до третьих петухов не уснёт, только рассказывай. Слушает, удивляется, изумляется, пугается, восхищается: «Эх, ребята! Штука-то какая! — Ах, ах! Всю землю исходили учёные люди, всю измерили, всю проверили, записали, описали, книги составили! А Ломоносов-то, а? Это ли не диво дивное! Из мужиков, значит, в Москву с обозом пришел зимой — и стал ученым на всю Россию и даже на весь мир!..»

И огонь погасят, и в постель ляжет Дорофей, а всё думает, думает и удивляется. Вот и сейчас: да разве учёные,

умные люди решились бы идти войной на русский народ? Да никогда в жизни! И особенно теперь, когда уже прожили чуть ли не четверть века при советской власти, когда вот такие вот, от горшка два вершка, — и то всё понимают, что к чему!..

Дорофей берёт клок сена, подносит его к лицу, нюхает. Запах-то какой! Ещё бы: тут и ягожник, и даже сплюснутые сухие ягоды есть. А где будет это сено недели через две? Может быть, Илюшка Дорофеев зять, возьмёт охапку этого сена, понесёт лошадям и по запаху узнает, что сено — родное, степановское, среди берёз накошено! Или не узнает? «Как его узнать? — вздыхает Дорофей. — Тут по всей Западной Сибири такое сено».

Со всех сторон тянутся к сенному пункту высокие зелёные воза. «И всё наш брат, старик! — не без удовольствия отмечает Дорофей. — Старики да бабы... то есть, извиняюсь, женщины. Это вот, кажись, из Берёзовки дедушка-то, борода сивая...»

— Из какого хозяйства-то, ровесник?

— Колхоз Калинина! — кричит с высоты воза ровесник.

— Калинина? А я думал — из Березовки!

— Ну да, из Березовки! Так у нас же у колхоза-то имя Калинина!

Рассердился на себя Дорофей. Совсем отстал от жизни, не знает, где какой колхоз.

Берёзовский старик деловито, не торопясь, расправил усы, отвязал повод, чтобы лошадь могла доставать сено, брошенное на землю. На его голове красовалась старенькая, помятая, но внушительная фуражка пограничника — зеленая.

«Где он достал такую? — подумал Дорофей не без зависти. — Разве сын или внук отслужил службу да принёс, подарил старику?»

— Что, много возить-то осталось ещё? — спросил Дорофей громко, как у глухого.

— Мы ещё на той неделе всё вывезли, — ответила пограничная фуражка. — Это уже сверх плана.

Дорофей смутился.

— Скоро вы управились! Должно, план не велик был, с гулькин нос?

— План на всех одинаков, от хозяйства зависимо! «С гулькин нос!» Смотря какая гулька! Хозяйство небольшое — и план небольшой, хозяйство большое — и план большой.

— Это мы понимаем!

— То-то, что понимаете! Степановские только хвалиться мастера. Писали в газетах: мы, мы!.. И план наперёд всех выполним, и весь район призываем последовать по нашим стопам, и куда к чертям! Не кто-нибудь, Климов ваш хвалился.

— Что ж, — вздохнул Дорофей, покраснев, и без всякой надобности поправил чересседельник на своей лошадке, — Климов выполнил бы, да его призвали в ряды, сам должен понимать. Теперь у нас председатель другой, слабоват, вот и отстали...

Из-за чего поссорились, если разобраться? К ним стали подходить с кнутами в руках старики и женщины, прислушались и почти все приняли сторону берёзовского. Вот диво-то! Один старик в широкой и длинной голубой рубаше направлял в грудь Дорофея гладкое черёмуховое кнутовище и бурчал:

— Поскольку слово дали, его надо держать твёрдо, а понапрасну болтать не след, да!

— Это вон рядом с нами, в «Искре», председатель такой же, две капли. Наговорит допрежь всякой, извините за выражение, всячины, а на деле...

— Да что вы на меня напали? — рассердился Дорофей, расставив руки в широких отвисших рукавах. — Я что ли виноватый? Моё дело тут совсем сторона! Что вы привязались ко мне?

Но старики и женщины тесней сдвинулись вокруг него, закричали возмущённо и все враз:



— А! Вот как славно! Его дело сторона!

— Старый человек, а говорит не от ума.

— Ты, дед, в бане эти слова не скажи, а то шайками закидают!

— Выходит, моя хата с краю, я ничего не знаю?!

Дрожавшей рукой схватил Дорофей под уздцы свою лошадь и повёл её, вместе с возом, конечно, к весам. Быстро сдал сено, сунул в карман квитанцию и рысью поехал домой. Как же это так вышло — не сумел поговорить с людьми? Надо бы вот какие и вот какие слова сказать, а он...

Вечером рассказал обо всём дочери. Рассказывал возбуждённо, ходил по избе, размахивал руками. К его удивлению, Дарька засмеялась.

— Смеяться тут нечего, — обиделся он. — Я не шутики шучу. Люди выполнили давно, а мы всё возим. Мне уж и показаться-то там теперь совестно. До каких пор возить-то мы будем?

Он надел картуз и широко зашагал к Палагину.

— Никуда не годится, Микита Петрович! Вы там написали чего-то, нахвалились, а я красней за вас!

Палагин напугался.

— Да что ты, Дорофей, ей-богу! Ты не волнуйся, ей-богу! Завтра ещё две подводы выделим. Значит, что касается, и мне досталось?

— Там всем досталось. Как сгрудили меня старики да бабы, то есть, извиняюсь, женщины, я не знал куда деваться. Председатель, говорят, у вас беззаботный, в военное время, говорят, не так надо работать, он у вас на ходу спит, говорят! А тут ещё председатель райисполкома подошёл, послушал, — приврал Дорофей неожиданно для себя и перепугал Палагина окончательно.

III

Хороши сибирские поля!

Вот ровная дорога, до масляного блеска накатанная, налощённая колёсами телег и автомобилей. Недавно про-

шёл дождь, пыли нет, но нет и грязи, только по обочинам, в низинках, ещё сохранилась сырость.

По обе стороны дороги стелются ровные зелёные полосы, стеной стоит синеватая рожь, рядом с рожью, пониже её — пшеница с мягкими широкими перьями, а здесь, за перелеском, начинаются пары, ещё не вспаханные, заросшие самыми разнообразными травами. Высоко поднимает свои сочные полые стебли молочай. Сломись трубочку, а из неё так и брызнет горькое, клейкое молоко, от которого на пальцах и ладонях остаются коричневые, трудно смываемые пятна. Жёлтые цветы молочая смешались с лиловым, душистым, сладким цветом осота, повитого мышинным горохом. Тут же поднимается случайно попавший сюда подсолнечник, снизу и до самой корзинки опутанный цветущей повиликой. А вот полоса гречихи тянется вдоль дороги, на половину высоты своей пронизанная белым цветом в красных крапинках. А дальше, за кустами, за сырой низиной, заросшей осокой, убирают сено. Красными и синими пятнами — платки и кофты, сверкают на солнце косы, поднимаются и падают грабли и вилы.

Дарька Палатова, в старых мужских сапогах, в белом платочке, идёт вслед за Фроськой и, шутя, грозит подрезать ей пятки, если она будет отставать. Стеблистая трава качает цветущими головками, ветер проносится по траве, мнёт её, делает на ней ямы, которые тотчас же снова выравниваются.

Никита Палагин, без картуза, без пояса, с расстегнутым воротом, подаёт длинными вилами сено на стог, сенинки запутались у него в волосах, в бороде, сенная зелёная пыль, крепкая, как табак, набилась под рубашку и щиплет потное тело. Сегодня утром здесь лежали рядки сена, а теперь уже сложен стог выше берёзы.

До вечера мечет сено Палагин, стараясь обогнать всех.

— Вот это председатель! — говорит Канифат Умнов. — Вот это я понимаю!..

На другой день Палагин поехал в тракторный отряд, чтобы посмотреть, как идут дела у Варьки Брехунец. Тьфу

ты, какая фамилия неудобная! Проводив мужа на фронт, Варька решила стать трактористкой, две недели поработала прицепщицей, а теперь сидит за рулём.

«Правда, — думал Палагин, — исправить трактор, что касается, если какая поломка, она не сумеет, не разбирается в механике-то, а всё же пашет, норму выполнять стала!»

Трактор давил лязгающими гусеницами осот и молочай, пять лемехов буровили чернозём. Солнце пошло на закат, его косые лучи золотой паутиной опутали колосья ржи и пшеницы.

Прицепщик Степка Ломов, парень взрослый, но избалованный, занимавшийся до войны порчей чужих огородов, нажал на рычаги, лемеха поднялись, вылезли из земли, блестя вогнутыми зеркалами отвалов, и головки осота в увеличенном виде отразились в них.

Варька повела трактор к берёзкам, где стояли на поляне бочки с горючим. Степка чистит лемеха и оглядывается на председателя. Он чувствует, что дядя Никита наблюдает за ним, он угадывает даже, что именно о нём думает Палагин: «Ишь, ишь, парень-то! Образумился! Приятно посмотреть! За дело берется! Ещё какой работник-то будет со временем, только держись!»

— Идут дела? — громко и с улыбкой спросил Никита.

— Гы! — ответил Степка, смутившись, и ничего не сумел сказать.

— Так, так. Старайся. Дело пойдёт. Сейчас прицепщиком, а потом трактористом будешь, на курсы тебя пошлём...

В кустах около протоки слышится шорох убираемого сена. В протоке купаются и плавают две дикие утки. Никита направляет лошадь по узенькой тропинке направо, и перед ним открывается небольшая полянка. Самсон Грошев, невысокий старик в длинной серой рубахе, снимает деревянными вилами сено с рядочков, как блины с подмазанной сковородки, и складывает в кошну. Никто не посылал Самсона косить, он сам пришёл сюда и выкосил все полянки.

— Ужинать пора, Самсон Макарыч!

Не расслышав, Самсон нерешительно смеется, полагая, что председатель сказал что-то забавное.

— Швыряюсь потихоньку!

— Отдохнуть, говорю, надо!

— Да, сенцо хорошее, Микит Петрович, славное сенцо, пырей же с листочками только ягнятам!

Чем же повеселить, чем порадовать старика? Никита слезает с лошади и, улыбаясь, громко кричит ему прямо в ухо:

— Ты знаешь, сколько трудодней-то тебе начислили, нет? Сто двадцать! Ей-богу! Вот сколько заработал ты!

Солнце давно закатилось, темнеет воздух, земля остывает и обдаёт прохладой, на листьях оседает роса, а в кустах всё ещё шуршит сено, потрескивают сухие стебли под ногами Самсона. Но вот сено сложено, старик причёсывает граблями копну, оправляет её и, спрятав в кустах вилы и грабли, уходит домой.

Не трудодни веселят Самсона. Веселит его то, что он ещё нужен в жизни, не отпал, не отсох, и сила есть в руках и в ногах, и ещё доступна ему сладость возвращения к домашнему очагу в поздний час, когда в окошках уже появляются красноватые огоньки и приветливо, по-вечернему, зазывающе лают в Степановке собаки.

IV

Фроська вошла в коровник.

Стоял жаркий день, всё тонуло в буйной зелени, лучилось солнце, а под крышей коровника было сумрачно, сыро, толстый слой навоза закис, посередине стояла коричневая лужа, и крупные синие мухи с воем кружились над этим вонючим болотцем. Крыша кое-где провалилась, воробьи и ласточки влетали и вылетали в дыры. В кормушках и около них густо выступила бледно-зеленая пшеница.

Заброшено, покинуто помещение, коровам оно не нужно теперь до глубокой осени, они пасутся на зеленом приво-

лье, топчут копытами траву и ромашки, а ночью лежат под звёздным небом за изгородью.

— Берите вилы! — сказала Фроська, созвав доярок и телятниц. — Уберём навоз, всё очистим, в культурный вид произведем. На мужиков надеяться не приходится теперь, они нам крышу починят — и за то спасибо, а тут мы сами управимся.

Она подоткнула юбку, засучила рукава и босиком влезла в навоз. Он шипел под ногами, оседая, пуская пузыри, обдавая крепким нашатырным запахом, и липкая коричневая жижа облила белые ноги. Подруги пошли за нею. Зубья железных вил вонзились в густое месиво.

— Стены снаружи облепим, утеплим, глины с навозом намешаем!

Весь день, до вечера, выносили тяжелые пласты навоза, сняли весь слой его до земли, заровняли ямки, срыли бугорки, очистили кормушки. Лаврентий с Борисом, между тем, спустили солому с крыши, чтобы переменить сломанные полусгнившие стропила и слеги, и горячий солнечный свет потоком хлынул в промозглый угол.

— Пусть так постоит с недельку, — сказал Борис. — Просохнет, проветрится малость, а то...

С тех пор, как молочную ферму поручили Фроське, коровы ни разу не оставались на зиму в грязном и холодном помещении и без кормов. Только однажды, в одну из прошлых зим, не подвезли вовремя сена. Сена было много, но оно находилось далеко в поле. Коровы ревели, бросались к дояркам, подобрали всю солому на снегу и, поднимаясь на задние копыта, старались достать тростник с крыши. Сердце у Фроськи обливалось кровью, она металась, места не находила себе. Председателя не было дома, он уехал по случаю масленицы в гости к зятю в Белобородовский поселок, загулял там. И за сеном нельзя ехать — буран страшный, хороший хозяин собаку со двора не выпускает.

— Ну куда ехать в такую метель? — ворчал простуженным голосом Аким Астахов, до самых глаз закутанный

широким шарфом. — Света белого не видеть. Замёрзнем, право слово, замёрзнем!

Но всё же запрягли лошадей, поехали. Погрузились в белое месиво, как мухи в молоко, ничего не видеть.

— И лошади-то встали, не идут, они умнее нас!

Пришлось вернуться.

— А как же теперь?

— Как? А вот как, — нашлась одна из доярок. — За председателя надо братья! Он, идол рябой, для своей холмогорской ведерницы вон сколько сена-то навозил, полный двор, я вчера нарочно поглядела, два стога поставил, а об ферме у него и головушка не болит, гулять уехал! Заехать к нему на двор и перевести все сено на базу, к коровнику, вот он и будет знать кузькину мать!

— Поехали, — сказала Фроська, подумав.

Председателем тогда был Николай Крик. Фамилия такая — Крик. Вернулся он из Белобородовского посёлка и первым долгом забежал на базу — беспокоился всё-таки, знал, что коровы голодные. И в те часы, когда плясал в избе у зятя под гармонь, думал о коровах, о кормах, поэтому и плясал, к удивлению всех, неважно, самые интересные колена не получались у него.

Смотрит: возле коровника гора сена. Он глазам своим не поверил.

— Кто привёз?!

— Фроська с доярками! — ответил конюх Яша Полынкин, скреплявший проволокой вязок у дровней.

— Да как они проехали в такой буран?

— Вот так и проехали, сумели! Астахов — тот не смог. Замерзнуть боялся.

— Ай да бабы! Ай да женщины! Вот это работницы! Постахановски! Забота видна! Вот, Яша, я давно говорил, что надо из женщин кого-нибудь завфермой поставить! У них, понимаешь, как-то больше жалости к животному, женщина — не наш брат, она не допустит, понимаешь, чтобы скотина голодом стояла. А наш брат — беззаботный, а если

выпьет немножко, тут ему и трава не расти. Молодцы, молодцы! Отметить надо! Как раз 8 марта на подходе, женский день, вот и премировать их. В такой буран!..

Председатель зашёл в контору и позвонил в редакцию районной газеты.

— Хочу вот тут небольшую заметочку передать, — сказал он, поздоровавшись с редактором. — Подвиг наши женщины совершили! Я передам в общих чертах, а вы уж там составьте, подредактируйте...

И он передал в общих чертах.

— Кто организовал-то? Да наша завфермой, Барабанова, вы уже писали о ней, там у вас и карточка её имеется и фотографию поместите!..

Через два дня пришла районная газета, где за подписью председателя колхоза Николая Крика восхвалялись Ефросинья Барабанова и её подруги. Заметка была озаглавлена: «Вот это забота!»

Но это было через два дня, мы слишком забежали вперед.

Поговорив с редактором, председатель, путаясь в длинном и тяжелом праздничном тулупе, направился, наконец, домой, вошёл во двор и остолбенел. От двух стогов сена не осталось ни охапки. Холмогорская ведерница стоит около крыльца и ревёт зычно, требовательно, вытягивая шею.

После этого он каждый день стал заходить на ферму, проверял, есть ли подвезённые корма. С Фроськой три дня совсем не разговаривал, а потом хотя и стал разговаривать, но не глядел на неё, глядел в сторону.

Давно это было. Пять лет назад...

Хорошо работала Фроська, подобрала заботливых, чистоплотных доярок, коровы помногу давали молока. Этим летом ей предстояло даже побывать в Москве на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Она уже поехала туда, но пришлось вернуться. Пришлось вернуться потому, что это было 22 июня. Фроська ехала на станцию, сидела в пле-

тёном ходке и смотрела по сторонам, на цветущие поля, густо покрытые хлебами и травами. Отвезти Фроську на станцию взялся Никита Палагин, и не подозревавший, что ему в скором времени придётся стать председателем колхоза. Не поверил бы, принял за насмешку, если б ему тогда «сказали об этом.

— Вот жизнь какая наступила, ей-богу! — философствовал он, сидя в ходке рядом с Фроськой, держа в правой руке кнут, а в левой вожжи, свитые из конского волоса. — Завидую я вам, молодым людям, ей-богу! Да как же? Всё вам предоставлено, не только, что касается в смысле грамоты, а все пути-дороги открыты. И правильно песню поют: живем мы весело сегодня, а завтра будет веселей! Ей-богу так! Я вот смотрю на тебя: простого ты звания, и должность у тебя, что касается, не из чистых, всё время около скотины, а вот поди ты, ей-богу, — в Москву едешь, там тебя в автомобиль посадят, повсюду повозят, на людей посмотришь, на достижения, а это большое дело, развитие ума, ей-богу! А я, к примеру, зачем прожил век свой? Пень с глазами, ей-богу! Дальше Степановки и не бывал нигде. Ну, в район, в Степное езжу, это не в счёт.

— Учиться надо, дядя Микита! — сказала Фроська. Ей теперь всё казалось простым, доступным, и она была уверена, что Палагин мог бы в один месяц научиться грамоте, если б только захотел.

Никита взмахнул кнутом. Ходок крикнул, рванулся вперед, колеса заговорили веселей.

— Первоначальную-то грамоту я знаю, Фрося, и писать могу и газету, если интересно, почитаю, добьюсь до смысла...

А Фроська и слушала и нет — мыслями она уже уносила в Москву, и сердце замирало: Москва! Слово-то какое!

— Я три зимы ходил в школу ещё при царе, — продолжал Никита. — И стишок про Москву на память знал. Сейчас забыл уж, ей-богу. Не тем голова забита.



Город чудный, город древний,
Ты вместил в свои концы
И посадки, и деревни,
И палаты, и дворцы...

Ты негнула крепкой выи
В бедовой своей судьбе:
Разве пасынки России
Не поклонятся тебе!

Ты, как мученик, горела,
Белокаменная!
И река в тебе кипела
Бурнопламенная!

И под пеплом ты лежала
Полоненною,
И из пепла ты восстала
Неизменною!..

Забыл, Фрося, ей-богу.

Они ехали мимо берёзовых и осиновых перелесков, в пышных травах пестрели цветы, и тёплый воздух волнами поднимался от земли, обдавал пряным запахом, и казалось Фроське, что эти бело-зелёные берёзы, как любимые подруги, провожают её, радуются её радостью и желают ей счастья. Могла ли она знать, что её ожидает на станции, на этой глухой, маленькой станции, утонувшей в разливе зеленых хлебов?

Когда Фроська с Никитой вошли в вокзальчик, громко разговаривая и смеясь, на них строго зашикали, замахали руками. Фроська осторожно поставила чемодан и, не понимая, что случилось, испуганно смотрела на людей.

В вокзальчике было человек тридцать. Никто не сидел, хотя все скамейки свободны.

Люди стояли, слушали радио.

— Сегодня в четыре часа утра, без предъявления каких-либо претензий, германские войска...

Через полчаса Никита с Фроськой ехали обратно. В Степановку.

Никита опустил вожжи, не погонял лошадь.

Молчали.

А вокруг было по-прежнему тихо, солнце по-прежнему щедро заливало теплом и светом поля. Птички, искавшие что-то в дорожной пыли, взлетали невысоко, садились на ветки цветущего осота и, покачиваясь, с любопытством, с каким-то, казалось, повышенным интересом посматривали на молчаливых, задумавшихся людей...

Всё это и пронеслось перед глазами Фроськи, пока выносила из коровника пласты сочного навоза.

Пришёл Никита Палагин.

— Вот молодцы! — похвалил он. — Я, признаться по вести, ещё и не подумал про подготовку скота к стойловому содержанию, ей-богу! Не до этого. Вы и наперед так поступайте, сами смотрите, что нужно делать, не ждите от меня указаний. Если вы не будете сами братья да стараться, то я запущу всё, в тюрьму сяду, ей-богу!

— Да что ты тюрьмы-то боишься? — рассердилась Степанида Хмель. — Ну и посидишь годочка три-четыре, велика важность! Сроду нигде не бывал, хоть в тюрьме побудешь. Станешь петь:

Мы не сеем и не пашем,
Из тюрьмы платочком машем...

Трус ты, дядя Микита! Поди, уж и сухарей насушил?

Никита покраснел, крикнул с досадой на свои глупые слова и ушёл в контору.

Зоя Григорьевна, оставив в покое счёты, развертывала только что полученный солдатский треугольник.

— Что пишет твой Соловей? — поинтересовался Палагин, когда она закончила чтение и, вздыхая и улыбаясь, задумалась.

— Пишет, в артиллеристы попал, — сказала Зоя Григорьевна, помолчав. — Очень доволен. По врагу вроде бы



ещё не стрелял, а уж — по воображению — стишок сочинил. Вот, послушайте!

Когда по немцу весь наш полк
Из всех своих орудий садит, —
Трясётся немец, словно волк,
Прижатый вилами в засаде.
Что там творится в те часы!
Взлетают вверх мосты, вагоны,
Летят железные кресты
И ром, и карты, и погоны.
Смертельным ужасом полны,
Бегут растрепанные фрицы
И видят: мчится бог войны
За ними в гулкой колеснице.
Чтоб без оглядки, чтоб скорей
Прочь убирались людоеды —
Громами грозных батарей
Греми, бог мести и победы!

— Здорово ведь, а, Никита Петрович?

Палагин долго молчал. Поставив локоть на стол, он комкал свою густую, с обильной проседью бородину.

— Оно здорово-то здорово, Зоя Григорьевна, да только чьи мосты-то взлетают? Наши? Вот то-то и оно-то. Если б фрицев на их территории колошматили, тогда бы ещё здоровее было.

— Ну, Никита Петрович, сначала на нашей, а потом и на ихней начнут колошматить. Всему своё время.

В раскрытое окно влетела ласточка и, поняв, что не туда попала, щebetнула и смылась.

V

Фроська пришла домой поздно. Муж её, Васька Барабанов, невысокого роста, хромой от рождения, с растрепанными, давно не стриженными волосами, сидел за столом

и жадно курил. Дым валил у него изо рта и ноздрей, и сияя пелена разделила избу на два этажа.

— Тьфу! — плюнула Фроська. — Опять баню топит. Да ты хоть бы окошко открывал, что ли? Ведь это беда!

Васька молчал. Он был не в духе. Сегодня он метал сено в стога. В полдень, пообедав, все легли в тени возле стога отдохнуть, а Васька ушёл в ближний колок, напал на полянку, усыпанную крупной спелой клубникой, и только к вечеру вернулся в бригаду. Канифат Умнов побранил его.

— Бессовестный! — отдельно, с нажимом говорил Канифат, гневно глядя на злостного прогульщика. — Где у тебя глаза-то? Где? Время знаешь какое, люди стараются не покладая рук, только шум стоит, а ты... эх... эх, ты! Где ты был? Постой, не хватайся за вилы, ответь сначала на мой вопрос: ты где был? Твои ровесники... Брось вилы!.. Твои ровесники кровь проливают, головы свои за нас кладут. Ты для военного дела непригоден, так здесь надо работать, здесь!

Канифат говорил это и посматривал на колхозниц, как бы призывая их в свидетели, и все молчали и работать стали ещё быстрее — кому же хочется быть похожим на Ваську? Никому не хочется...

Накурив полную избу, Васька грустно покачал головой и, прихрамывая, пошёл к кровати.

— А ужинать? — спросила Фроська. — Или не будешь? Он не ответил,

— Каша есть, молоко...

Он опять промолчал.

— Хромой дьявол! — рассердилась Фроська. Она в обращении с мужем не церемонилась и в выражениях не стеснялась. — С ним по-хорошему, а он морду воротит! Заговори-ка теперь со мной!..

Пужинав, она оделась и пошла к своей подруге, к Стешке Хохловой. Фроська, как уже упоминалось, считала себя несчастной. У всех мужья как мужья, только ей попался какой-то никудышный. Вон у Варьки Морозовой

муж лейтенант, в военкомате работает, недавно домой приходил, посмотреть любо: герой!

— А этот! — ещё раз мысленно обругала она своего Ваську, подходя к воротам Стешки. — Связалась я с тобой, с разнечистым духом, на своё горе...

Васька, между тем, лежал на кровати, закрыв руками лицо и уткнувшись в подушку, и терзал себя горькими руками. Никогда не будет он лейтенантом, не напишут в газетах, что он геройски дрался, защищая родину. Не нужен он там, на войне, обойдутся без него!

— Эх! — побил он кулаком подушку, как своего злейшего врага, вскочил с кровати и засветил маленькую лампешку без стекла. На стене, около зеркала, в красной рамке, обвитой цветами, Фроська приклеивала вырезанные из газет портреты героев-фронтовиков. Васька был уверен, что Фроська, оставшись в избе одна, подолгу смотрит на эти портреты и думает о том, что хорошо бы выйти замуж вот за этого, или за этого, или за этого. Со стены глядели на Ваську такие богатыри, что он чувствовал себя мухой, козявкой какой-то. «Удавлюсь! — подумал он. Эта мысль уже приходила ему в голову. — Или утоплюсь».

И Васька, наверное, утопился бы, если б он был, так скажем, в двух экземплярах. Один Васька Барабанов утопился, отомстил Фроське, заставил её пострадать и пожалеть его, а другой экземпляр поболтался бы где-нибудь в городе месяца два или три и вдруг, как с облаков свалился, шасть на порог! Из мёртвых воскрес! Тут Фроська и кинулась бы к нему, и миленьким, и Васенькой называла бы. Ага, то-то! Но поскольку Васька существовал всё же только в единственном экземпляре, уникам своего рода, то он этим экземпляром страшно дорожил.

Как? Разве в жизни одно мученье? Хорошего нет ничего? А поля? А леса? А табачку покурить? А на гармонии поиграть? Вот она, гармонь, только играть теперь не полагается: горе у всего народа! Но потихоньку можно в своей избе поиграть.

Достал он с полки гармонь, укрытую Фроськиным платком, сел на кровать, и запела гармонь, запела и заплакала, и вздыхает, как живая, и стонет от нестерпимой боли, и радуется до слёз... Хорошо играл хромой чёрт! Бывало, иные плакали даже, слушая. За гармонь Фроська и полюбила его. Околдовал, очаровал... И сейчас — даже сверчок на шестке замолчал, замер, слушая игру, а когда Васька кончил, сверчок ещё с минуту ждал, не заиграет ли вновь, но продолжения не последовало, и он опять застрекотал своё. Какое ему дело до чужой печали?!

Васька сел к столу, поставил перед собой лампочку и закурил. И вдруг в носу у него защипало, и слезы просекли глаза. Где его товарищи? Где Илюшка Палатов, Гришка Зайцев, где другие? В детстве Васька только тем и отличался от них, что прихрамывал, а теперь? Васька вскочил с табуретки, словно она обожгла его, и начал бурно ходить по избе... Гришка Зайцев, как бы на зло своей фамилии, соколом летает на самолете, стрелой вонзается в облака, ревушим снарядом бросается вниз и... горько фашистам! Пусть он погибнет, но гибель, мгновенная гибель в таком бою, прекрасна, как сама жизнь!

«Если б да не мое несчастье, не нога... У меня и фамилия-то военная: «Барабанов!.. Идёт!» — оборвал он сам себя, услышав стук калитки, и схватил полотенце, чтобы вытереть заплаканные глаза. Но Фроська внимательно присмотрелась к нему, заметила:

— Ты что это? — строго спросила она.

Он обиженно шмыгнул носом. И вдруг схватил стакан, швырнул его к порогу и вышел вон. Стакан со звоном разлетелся на части.

— Это ещё что за новости? — удивлённо произнесла Фроська. — А? Смотрите-ка, люди добрые!

Она долго стояла среди избы и думала, машинально составляя из граненых осколков граненый стакан, и не могла понять, что такое происходит с Васькой. И вдруг засмеялась.

«Ревнует!— радостно догадалась она, взглянув на портреты. — Ревнует, хромой бес! Ну не дурак ли? К портретам ревнует!..»

VI

Однажды Стешка с Дарькой сидели за столом и писали письма своим мужьям или, как они говорили, мужикам. Пришла Фроська.

— От меня поклон напишите! — сказала она, — И Гришке, и Илюшке. О господи! Если бы мой мужик на войне был, я бы ему каждый день по два письма писала!

— Что вы все письма да письма, а вы посылочки составьте! — сказал Дорофей, держа на коленях внучка и гладя жесткой рукой его мягкие волосёнки. — Табачку, папиросочек, утиральничек с вышивкой! Они рады будут.

— И правда! — обрадовалась Стешка, и карандаш выпал у неё из руки...

Стали собирать посылки, и Фроська приготовила два полотенца, достала шесть пачек папирос. Косо посмотрел на неё Васька и строго постучал пальцем по столу.

— Имей в виду!

— Ну тебя к дьяволу! Свой мужик дома сидит, хоть чужим пошлю.

— Имей в виду!!

— Имею.

— То-то. Имей!

Фроська вышла. Он поковылял за нею, опираясь на палочку. Злоба душила его. Нет, он не против того, чтобы послать фронтовикам подарки, но Фроська не потому отдает папиросы и полотенца, что хочет помочь бойцам, — военных она любит, вот в чём дело!

— Я тебя насквозь вижу! — шипел он, приближаясь в потемках к дарькиной избе с двумя красно освещенными окошками. — Изучил я тебя доподлинно. Ты всё готова отдать для военных! Всё!

Он поднялся на завалинку, сплетённую из кустов, и сбоку, наискосок, чтобы на лицо не попал свет лампы,

заглянул в окошко. Степка укладывала в ящики подарки. Дарька светила ей, держа в руках лампу. Дорофей стоял тут же и давал советы, как лучше уложить и упаковать. Фроська, с раскрасневшимся лицом, с блестящими глазами, суежилась больше всех и всё просила не перепутать ее записки. Записки? У Васьки ёкнуло сердце. Записки? Гм!

Он осторожно спустился с завалинки и заторопился домой. Он так спешил, что на лбу выступила испарина и плечам стало жарко под пиджаком. Раскрыв сундук, он взял свои пуховые праздничные перчатки, шарф, свернул все это, а через несколько минут был уже в дарькиной избе. Ни на кого не глядя, тяжело дыша, он подошёл к столу, прибавил к уложенным подаркам свои и сказал въедливым, крякающим баском:

— Давайте гвозди, молоток, я заколочу ящики.

Фроськины записки он изъял и, не интересуясь их содержанием, мелко-мелко изорвал.

— О господи! — охнула Дарька.

Фроська покраснела от стыда и злости.

— Ну, погоди! — задыхаясь, сказала она, и на глазах у неё выступили слёзы. — Погоди! Я всё равно напишу!

Вскоре она была уже у себя дома, но не в избе, а в сарае, лежала на сене и плакала. Да что это, на самом-то деле? Долго ли она будет мучиться? Нет, она завтра же пойдёт к тетке Матрене, соберёт там посылку и отправит на фронт. Пускай попадёт любому бойцу. И письмо напишет. Эта мысль несколько утешила её. Фроська перестала плакать.

Во двор вошёл Васька. Он посвистывал, курил, сыпал искрами. Он торжествовал победу. Это было ясно. Будучи в хорошем настроении, он хромал как-то по-иному, сильнее, чем всегда, словно рисовался своим недостатком.

VII

Близилась жатва. Палагин побыл в озимом поле, вошёл в хлеб, посмотрел вокруг. Массив стал пегим — на зеле-

ни появились беловатые пятна. Сорвал колос, взял на зубы зерно: оно твердое. На буграх можно начинать косовицу.

Пришёл комбайн. Люба Умнова, молодая девчонка с узеньким личиком, в синей кофте и красном платочке, хотела завести мотор и не сумела — не хватило сил повернуть лебедок.

— Дядя Микита, пособи!

Никита поплевал на ладони, потёр их одну о другую, два раза крутнул лебедок, и мотор застучал, сотрясая корпус комбайна, выбрасывая комочки душистого дыма. Старрики постояли, посмотрели, задумчиво потерев бороды. Ничего не сказали из деликатности, и только когда отошли от комбайна, Дорофей вздохнул:

— Она, может, и понимает, куда какой винт принадлежит, а в ход пустить машину не способна, тут силу надо.

— Силу, силу! — сказали старики с такой важностью, словно изрекли нечто совершенно новое, ещё никем не сказанное.

— Серпы надо готовить, серпы!

— А серпов-то и нет!

— Как так?

— Очень просто. Разбросали за эти годы, привыкли к технике.

Дорофей отыскал в амбаре заржавленный серп с красной деревянной ручкой, вычистил его, вызубрил и вышел в огород, где росла около плетня высокая лебеда.

— Ну-ка, лебеду-то как он...

Ничего, лебеду серп берёт хорошо. Дело пойдёт.

Дорофей посмотрел на солнышко — до заката далеко! — и отправился в поле. Связал первый сноп и поставил его комлем на жнивье. Хорош урожай в этом году! Как бы на зло силам разрушения взыграли животворящие силы земли. Вот он, снопик-то! Красота! Хоть на выставку отправляй!..

На другой день запестрели в хлебах разноцветные платки женщин и непокрытые головы стариков и подростков. В каждом доме нашёлся серп.

— Эх! — крикнула Степанида Хмель, скручивая поясок для снопа. — В полном разгаре страда деревенская!

— Что, Степанида, так и не слышно про твоего гвардейца?

Гвардейцем называли в шутку сынка Степаниды, шестнадцатилетнего Петьку. Он все играл с ровесниками в войну, водил их в атаку на сорняки, росшие возле плетней, — секли деревянными саблями лопухи и приговаривали:

— Самого... Гитлера! Самого... Гитлера! Кричали «ура», горланили военные песни, — и вот Петька, ничего не сказав матери — не пустит же, если сказать! — убежал в Степное, прилип к какой-то воинской части и уехал. Степанида и горевала, и в глубине души гордилась сынком.

— Ничего, тетка Степанида, героем вернётся.

— Если не убьют.

— Ну да, если не убьют. Тут, как говорится, или грудь в крестах, или голова в кустах.

— Это, я так считаю, книжки сманили его. Начитался про Чапаева да про Павку Корчагина, и пала ему дума: и я таким буду!..

Фроська, давно не работавшая серпом, глубоко порезала мизинец, кровь торопливо закапала на жнивье, на колосья.

— Провалиться бы тебе тут! — морщится Фроська, бросив серп, сосет палец и сплевывает кровь. Дарька отрывает ленточку от своей старенькой синей кофтенки и делает перевязку.

— Да дьявол с ним, с пальцем-то! — говорит Фроська и быстро, с каким-то остервенением хватает левой рукой колосья и подрезает их серпом: ей ли обращать внимание на такие царапины — ведь она собирается на фронт!

Раз в неделю, по воскресеньям, Фроська стала ходить в Степное на занятия — там при больнице открылись курсы медицинских сестёр.

— Посторонись, дедушка Канифат, мешаешь ты мне, трясешь портками-то у меня перед глазами, развернуться негде!



Канифат обиделся, но промолчал.

«А что тесновато несколько — это правда», — подумал он, посмотрел направо, посмотрел налево и крикнул:

— Эй вы, тот край! Подавайтесь дальше туда, к берёзам, больно уж густо стоим!

Тот край подвинулся к берёзам, и живая многоцветная цепь, охватившая пшеницу, вытянулась, поредела. Хрустят под серпами сухие стебли, шуршит и потрескивает под ногами жнивьё, мерный, непрерывный шорох стоит в воздухе. На жнивье встают всё новые и новые снопы, стена пшеницы отступает от людей, вот уже дошли до той черемухи, которая ещё недавно была далеко, на самой середине массива.

Терентий Бабич, без картуза, с коротко остриженными седыми волосами, в синей, вылинявшей на спине рубашке, подсекает пшеницу жнейкой и наблюдает за ходом ещё трех жнеек, на которых работают ребятишки. Когда одна из машин останавливается, Терентий большими шагами спешит туда, берёт ключ, молоток, и через минуту опять все четыре жнейки идут и гремят стройным хором, стригут густой хлеб на обширной выпуклой гриве, устилают жнивьё толстыми рядами спелых колосьев. А дальше, за речкой Налимкой, где поле ровное, как стол, — нет ни бугорков, ни впадин, — грохочет круглые сутки трактор, тащит комбайн. От комбайна, скрипя запылёнными колёсами, тянутся подводы, отвозят зерно. Дорофей, шагая рядом с телегой, непрерывно потряхивает вожжами, чмокает губами и посвистывает, понукая переднюю лошадь.

В поле, в том месте, где тесно столпились кучи снопов, расчистили и утрамбовали ток, установили трактор, и вот уже завертелся барабан молотилки, рвёт колосья из рук, полилось зерно, растёт омет измятой соломы. Никита Палагин сам встал к молотилке, ребятишки подвозят снопы, девчата отгребают зерно и солому...

Поздно вечером, едва приехав с элеватора, Дорофей сказал Канифату:

— Что ж, Канифат Иваныч, перекусим немножко, лошади отдохнут, да насыпать будем! Ночь светлая, вон месяц всходит. Только теперь и возить-то, покуда дорога сухая, а дожди начнутся — застрянем мы!

— Да, ехать надо, — согласился Канифат, доморощенный ветеринар и зоотехник. — Оно не мешало бы поспать часочка два...

Дорофей не согласился:

— Поспать в телеге можно. Обратное поедем порожняком, бросим соломки в телегу и спи всю дорогу.

Но когда они после ужина приехали на ток, оказалось, что намолоченного зерна хватит только на одну подводу.

Кроме сторожа, на току никого не было.

Дорофей заторопился к председателю.

— Молотить надо, Микит Петрович! Собирай людей, нечего лежать-то. Мы с Канифатом пойдём. Зови ещё человек пяток...

Месяц поднялся повыше, стало светло. Через полчаса к току подвезли два воза снопов, и молотилка застучала.

VIII

Погода стояла как по заказу. Дорога засохла, залоснилась, никаким дождём, казалось, не размочить её, зерно шло на элеватор прямо с токов, не было надобности в сушилках. Посохшая, покрасневшая трава крошилась под сапогами, лебеда в канавах повалилась под тяжестью собственных семян, будто по ней колесом проехали. Одинокие берёзы с пожелтевшей листвой стояли в поле, как золотые мётлы, четко вырисовываясь в звонком, прозрачном воздухе. Два поколения грачей, старое и молодое, появившееся на свет в этом году, высоко поднимались в небо и резвились там, словно в войну играли.

По ночам на полевых дорогах стучали телеги, возвращаясь с элеватора, а если была луна, то на полосах между берёзовыми перелесками до утра мелькали фигурки жен-

щин и слышался шорох соломы — круглые сутки вязали и складывали в скирды овёс и пшеницу.

Самых хороших лошадей проводили на фронт, и Самсон Грошев приучал к работе яловых и маломолочных коров, запрягал их попарно в пустую телегу, водил в поводу, потом клал на повозку небольшой груз, и через несколько дней коровы привыкали к работе, тянули вдвоём однолемешный плуг — поднимали зябь, готовили землю для весеннего сева.

Впервые в жизни Фроська косила косой пшеницу, к косе были приделаны грабельцы из пяти зубьев. В первый день это довольно увесистое сооружение так измотало её, что ночью она спала, по её словам, как без задних ног, а утром болели бока, плечи, руки, словно всё тело покрылось нарывами. Не хотелось шутить, даже разговаривать. С трудом поднялась она с постели, кое-как оправила её и села.

«Да что такое? — напугалась она. — Уж не захворала ли я?»

Она успокоилась, когда узнала, что и другие, кто косил вместе с нею, чувствуют себя не лучше.

— Ну, Фроська, — сказала Дарька, — я сегодня не работница. Повернуться не могу.

— Разомнёмся, пройдёт. Это с непривычки. Втянемся...

Трудно доставался им хлеб в этом году. Комбайны, управляемые молодыми, неопытными комбайнёрами, работали плохо. С косами да с серпами приходилось страдовать от темна до темна и в хорошую погоду и в ненастную. Три дня шёл дождь, руки мокрые, хлеб мокрый, а надо убирать — доброй погоды ждать не будешь, её может и не быть — осень.

Уже вставили вторые рамы, промазали окошки, завалили завалинки. Предзимней стужей пахнуло на Степановку, тучи закрыли небо, низко опустились над землей, потемнел воздух, почернели поля.

Дарька с отцом взяли лошадь в колхозе, поехали в лес, нарубили дров. Холодно, жестко, с угрозой шумели голые берёзы и осины, ветер продувал пустые сорочки и вороньи гнёзда, иногда поднималась нарядная метель листвы, а около пней ещё висели красные ягоды костяники, мокрые и холодные. И хорошо было думать о тёплой избе, о печке, в которой будут гореть, потрескивая, сухие дрова.

Дорофей, в шубе, в шапке и рукавицах, сидел на возу спиной к ветру, а Дарька шла позади. Если не считать того, что Илья не дома, а на войне, то ничего, вроде, не изменилось в её жизни. Изба стоит там же, где стояла всегда, те же поля и перелески вокруг, так же, как прежде, течёт среди кустов и камышей узенькая речка Налимка — всё по-прежнему, но не знала Дарька покоя, неотвязная забота давила и давила сердце и днём и ночью. Проснётся среди ночи, вспомнит сразу всё — и так больно сожмётся сердце, словно на него сапогом наступили. И долго лежит она с открытыми глазами, слушает шум и свист ветра и думает о том, что теперь, вот в эти минуты тёмной и холодной осенней ночи, делается там, на войне? И больше она не может заснуть, поднимается, зажигает лампу и начинает чистить картошку. За работой легче.

Остригла овец — их было у неё двенадцать — получился узел чёрной шерсти да узел белой, хотела оставить себе немного на чулки да на варежки — и не оставила. Есть пока и чулки и варежки, хватит на зиму. Там, на войне, тёплая одежда нужнее, чем здесь. Дарька никогда не была скупой, а теперь и подавно — ничего не жалко.

— Если бы мне сказали: Дарька, всё, что у тебя ни есть и в избе, и в сундуке, и на дворе — всё это нужнее сейчас для армии, да я бы — господи! — и не охнула и вот настолько не пожалела бы — на! Всё отдам, в одной юбке останусь! Кроме того, что шерсть сдала, овчины есть у меня, на шубу копила, тоже сдам, валенки новые, брюки ватные, шапку — с ног до головы одену одного красноармейца. Обязательно сделаю это! Давайте, бабы, уговоримся, чтобы

каждая так! Сколько нас тут? Ведь это же как хорошо получится.

— Нет, Дарька, мне не под силу это — одеть человека по-зимнему с головы до ног, — обиженно сказала Анна Горохова, женщина высокая и худая, с покрасневшим от холода носом. — Тебе хорошо рассуждать, у тебя один мальчишка, да и тот мал, ему ещё ничего не надо, а у меня четверо их и все в школу ходят. Их надо обуть, одеть. А моё предложение такое: вдвоём одного красноармейца одеть. Я валенки Егоровы могу отдать, а у Соньки полушубок есть мужской. Вот мы с Сонькой одного и оденем.

— А если кто в состоянии один?

— А уж это дело хозяйское. Может, кто не одного, а пять человек оденет!

Вскоре после этого Зоя Григорьевна составила ведомость, озаглавленную «Теплые вещи для фронтовиков». После шапок, валенок, шерсти в самом конце под двенадцатым порядковым номером был записан гусь, принесённый Канифатом Умновым.

Рано утром Дорофей смотрел в окошко и удивлялся: куда это собирается народ? Быстро прошла Фроська Барбанова, с граблями на плече, её догоняет Катерина Моржакова, тоже с граблями. Около базы стоят запряжённые лошади, Канифат складывает в телегу косы с грабельцами и деревянные вилы, а Егор Семеныч помогает ему.

— Что за прорва? — недоумевает Дорофей. — Чего они косить-то хотят? Вроде скошено всё, а тут... на, и жнейку выкатили! Скажи на милость! Куда это они? Разве немного осталось где в дальнем поле? Куда это собираются, дочка? — спросил он, когда вернулась Дарька, ходившая за водой.

— В Берёзовку. Колхозу помогать, там хлеб не убран.

— Вот это славно! А свой хлеб когда молотить?

— Молотить нам немного осталось, наш хлеб никуда не денется, он в скирдах, а там нескошенного много.

— А кто ж им виноват? Спать надо было поменьше!

— А ты будет ворчать-то. Собирайся. Поедем.

— Не поеду! Своей работы хватит!..

Все уехали в Берёзовку, а Дорофей, продолжая ворчать, надел старенькую шубёнку, ушёл на ток, подобрал солому, охвостье или, как он называл, озадки. Но не работалось ему. Отвык работать один, скучно, тревожно как-то, не слышит он рядом с собою живого голоса, только ветер шумит в соломе да в сухом бурьяне.

Дорофей посмотрел-посмотрел в ту сторону, где недавно скрылись за бугром телеги с людьми, воткнул лопату широким концом в ворох охвостья и пошёл в Берёзовку.

«Нет уж, — думал он. — Куда стадо, туда и мне надо... Да и людям пособить нужно. Вيني их как хочешь, а хлеб не имеет полного права под снег оставаться. Хлеб он... он хлеб, а не что-нибудь. Хлеб! Сказано...»

Дорофей хотел вспомнить какое-либо мудрое изречение о хлебе, да что-то ничего не припомнил. И придумал сам: «Хлеб — всему делу голова! С хлебом — пой, а без хлеба — вой!..» Когда он пришёл на поля Берёзовского колхоза, там уже работали, трещали две жнейки-лобогрейки, старики валили пшеницу косами, женщины вязали снопы, складывали их на телеги, и высокие воза, подрагивая, покачиваясь, один за другим медленно отправлялись на ток.

Нескошенную пшеницу жестоко терзал ветер, колосья бросались то в одну сторону, то в другую, шумели, роптали, звали, просили покоя. Дорофей постоял с минуту на дороге, посмотрел на всё это, потом сбросил с себя шубёнку, шапку, взял тяжёлую косу с грабельцами, поточил её брусочком и, широко расставив ноги, начал ряд. Хрустнули под косой пересохшие, потемневшие стебли, упали на грабельцы, сдвинулись тесно и легли на жнивье, а пожилая берёзовская колхозница, укутанная тёплым платком, уже хватала колосья обветренными, поцарапанными руками и связывала их в снопы.

«Вот так надо! — думал Дорофей, с каждым взмахом косы делая небольшой шаг вперёд, крепко нажимая пра-



вым сапогом на землю. — А вы думали, как работают повоенному-то? Нечего дремать-то... Ишь, затанули до каких пор, белые мухи полетят скоро... Получилось, как в той старинной книжке: только не сжата полоска одна, грустные думы наводит она...»

Выкосив ряд до конца, Дорофей не без удовольствия посмотрел на свою работу. Какой широкий ряд захватил он, как чисто выкосил, как ровно положил пшеницу! Не каждый сумеет так сделать при сильном ветре.

— Дай мне брусочек-то, я поточу! — подошёл к нему с косой на плече невысокий, плечистый старик с крупным лиловым носом, с густыми бровями, в картузе с переломленным кожаным козырьком. Дорофей пристально всматривался в него, поглаживая бороду, скрывая улыбку. Это был тот самый старик, который тогда, на сенном пункте, пристыдил Дорофея при всём честном народе. Старик тоже внимательно смотрел на Дорофея, припоминая что-то.

— Узнаешь меня? — спросил Дорофей громко, как спрашивают глухих. — Что ж это вы до экой поры затанули, а? Выходит, не нас, а вас ругать-то надо! Мы давно свое убрали!..

Побеседовали два старика, подружились. То знакомство, которое начинается ссорой, быстрее переходит в дружбу. Никаких камешков за пазухой уже нет, они выброшены в самом начале. Так вместе и косили они до вечера, шли друг за другом, одним бруском точили косы.

— А у меня радость! — похвалился Ефрем, когда они остановились в конце прокоса около двух берёз, сросшихся у основания. — Сын отличился. Храбрость проявил в боях с захватчиками. Шесть немецких самолетов обил. А тут и его подбили, самолёт загорелся, а он спасся, на парашюте спустился!

— Это герой! — сказал Дорофей.

— Так и в газете написано. Звание присвоили — Герой всего Советского Союза!

— Крепко!— сказал Дорофей, а сам подумал: «Если не врешь».

Но Ефрем не врал. Вечером он показал гостю газету с портретом сына и заставил внучку прочитать вслух всё, что написано о герое. Внучка прочитала бойко, потому что почти наизусть уже выучила всё, до слова, читала десятки раз всем родным и знакомым и просто так, себе самой.

— Вот ждём на побывку. Он в госпитале теперь, ожоги получил, но пишет, что ничего страшного нет, всё, говорит, заживёт до свадьбы.

— А он что, не женат, стало быть, холостой парень?

— Нет, женатый, это вот его девчужка-то, а поменьше — на улице гдей-то. Так говорится: до свадьбы заживёт.

Дорофей поглядел на девочку, на дочку Героя Советского Союза, и что тут случилось с ним, он и сам не мог понять: сердце забилось вдруг часто-часто, и слёзы обожгли глаза. Отчего? И от гордости: вот они какие, русские люди! И оттого ещё, что, может быть, ожоги-то не так уж незначительны, как он пишет, не станет же он расстраивать родных.

Вошла старуха с подойником в руке. Она только что подоила корову. Присмотрелась к гостю и поздоровалась. Дорофей встал, сказал «добрый вечер!» и опять сел. На улице под окошком надрывно кричала девочка:

— Дед! Да дед же!

— Дед, — сказала старуха, процеживая молоко в кринку, — не слышишь, внучка тебя ревёт! Поддай ей чулки, чулки просит!

Ефрем поискал, нашёл на полу чулочки с протёртыми пятками и подал их внучке.

Кошка, подняв хвост, ходила вокруг хозяйки, терлась о её ноги то левым боком, то правым, просила парного молока и мяукала так выразительно: «Умммм-на! Умммм-на!»

— Умна, умна! — сказала старуха. — Сейчас налью!

С трепетным, обостренным вниманием рассматривал Дорофей избу, в которой родился и выросал Герой, всё

здесь казалось значительным: и стол, и скамейки, и широкие доски пола с сучками, и высокий, до потолка, фикус в той, другой, чистой комнате, именуемой горницей, куда был сделан дверной проём, но не было двери, и умывальник, к которому каждое утро подходил умываться тот самый парень, который...

— Ах, дела-то, дела-то какие! — ахнул Дорофей и вытер глаза скомканной тряпочкой, лежавшей рядом с ним на скамейке.

— Дела... не говори! — вздохнул Ефрем. — Нежданно, негаданно... Ну да ничего. Победа будет за нами!

Помолчали, подумали. Сумерки сгущались. Ветер затих. За окошком гоготали гуси, уходя домой, на ночлег, покидая широкую лужу, красную от заката.

— У меня вот тоже зять на войне, — заговорил Дорофей. — Ильей звать. И сами не знаем, жив ли, нет ли. Давно письма не получали. Со дня на день ждём...

Дорофей лег спать на полу, хозяйка постлала ему войлок, дала подушку. А Ефрем подошёл к кровати, постоял перед нею, подумал, встал на постели на четвереньки и, наконец, лег, застонав. И не лег, а упал.

— Опять в поясницу вступило, — сказал он. — Пока работаю, шевелюсь — легче мне, а по ночам терпенья нет никакого, с постели подняться не могу, а поднимусь — не лягу никак! Кружусь, кружусь...

А на другой день Ефрем опять косил, ветер трепал его волосы и рубашку, и никто не подумал бы, что он стонет и чуть не плачет по ночам от боли в пояснице.

IX

В конце октября, в тихий солнечный день, по сухой накатанной дороге шёл со станции Степной человек среднего роста, в сильно помятой и подрезанной серой шинельке, с солдатским вещевым мешком за спиной и в полинявшей, засаленной пилотке со звездочкой. Левая рука его висела на белом шнурке, надетом на шею.

На Степановских полях стояли потемневшие стога сена с «пившимися в них берёзовыми перекладами. В колках краснели ягоды шиповника. Вот здесь, на гриве, Илья пахал весной. Как давно это было! Как далеко вдруг отодвинулось то время! Вспоминается холодный день в начале мая, небо, заваленное тучами так, что, казалось, солнце никогда уж не выкарабкается из них, вспоминаются голые берёзы. Илья сидел на тракторе и дрожал от стужи, не помогали и полушубок, и шапка с наушниками — «Сибшапка», как значилось на пришитой внутри этикетке. В связи с этим вспомнилось вдруг Илье, как однажды пьяненький Васька Барабанов потерял в драке шапку и все кричал:

— Где моя сибшапка? Где моя сибшапка?

— Вот твоя сибшапка! — сказала Фроська, да сибшапкой-то его по башке, по башке...

Илья улыбнулся. Как живут теперь Васька с Фроськой?

Бывало, остановив на повороте трактор, Илья и прицепщик Тимка Ключев боролись, чтобы согреться, падали, катались по земле, ломая крупную прошлогоднюю полынь, и, отряхнувшись, опять пахали. В березняке ещё лежал снег, в лощинах стояла тёмно-синяя снеговая вода, а кусты и берёзы гляделись в неё, как в зеркало, и не могли наглядеться: больно уж хороши!

Около полевой избушки с полинявшим красным флагом на потемневшей тесовой крыше Дарька варила обед, издалека было видно багровое пламя под двумя черными котлами, ветер доносил до пахарей сладкий дым, а потом повариха колотила обухом топора по висящему буферу, звон стелился вместе с дымом над черной, сырой, только что вспаханной землёй, путался в березняке и осиннике, и всех хлеборобов собирал к избушке.

Вечерами ребятишки-бороноволоки приносили сухой хворост, шумел огонь в железной печке, поставленной среди избы, и полыхало от неё теплом. Стены были голы, торчал из пазов почерневший мох, на тесно составленных топчанах лежали сбитые комом дерюги да старые полушуб-

ки; на длинном столе, сколоченном из тонких досок, горела маленькая керосиновая лампочка, но как хорошо, как уютно здесь было! Сколько рассказов, шуток, смеху! За окном метался ветер, вдалеке горела сухая трава, красный огонь цепочкой брёл по полям, то почти исчезая совсем, — нечем кормиться! — то взмахивая в рост человека, — набредал на полынные заросли или кучку пересохшего валежника.

Когда появлялись среди берёз первые цветы, Илья втыкал в цуговичную петельку телогрейки, пропахшей соляркой, цветок с мохнатой ножкой, и поэтому ему очень понравились стишки, как-то прочитанные в одной книжке:

Так и запомни время посевной:
Редкий березняк, ещё безлистый,
И цветок в петлице тракториста,
Пахнущий соляркой и весной...

Гуси вышли за поскотину, чтобы встретить Илью, и гогочут что-то вроде «добро пожаловать!», мол, милости просим, и кланяются, и крыльями хлопают — аплодисменты!

Но что Илью ждёт дома? Радость или горе? Давно уже не получал он письма, и всё могло случиться. Может, с Дарькой что... Или сынок умер, а, может, не умер, так глазок себе нечаянно выколол ножницами, играючи, и окривел, или отец, мать, тесть, наконец, уже отправились на тот свет, не дождались Илью? Или изба сгорела только вчера и придёт он к уголькам?

Ничего этого не случилось, ибо никогда не угадать, какой удар готовит нам судьба; он нарочно и перебирал все возможное, чтобы ошибиться по всем пунктам.

В избе никого не было. Илья постоял у порога, с трудом, одной рукой, стянул шинель, повесил её на гвоздь. Как хорошо, что здесь всё по-прежнему! Постукивают часы с тусклой гирькой, спустившейся до самой лавки. Вот кровать сына, зелёное стёганое одеяльце, подушечка, а на стене

картинка: петушок с зерном в клюве. И такая тишина, даже в ушах звенит!

Наконец, за окошком промелькнула голова тестя всё в той же потертой ушанке — он носит её уже лет двадцать, не меньше. Дорофей начал тесать топором доску во дворе, отпугнул курицу, сказав:

— Не лезь под топор, не торопись!

Войдя в избу, он непонимающими глазами посмотрел на Илью, затем охнул, шагнул было к зятю, но метнулся обратно, выскочил из избы и закричал кому-то:

— Дарью!.. Домой посылай!..

По улице торопился, сильно прихрамывая, с палочкой в руке... ну, ясно уж кто. Он, Васька Барабанов. Был он в вышитой белой рубахе, в новенькой телогрейке нараспашку, чисто побритый и причесанный, в блестящих сапогах. С торжественным лицом ввалился он к Илье, крепко пожал ему руку.

— С прибытием, Илья Иваныч!..

И вот уже в избе тесно и шумно. Дарья добыла самогонки. Ещё бы! Такое событие! И говорю, говорю, говорю!..

— Моего не видал ли там?

— Про моего не слыхал ли?

— А не хотят ли наши, Илья Иваныч, мешок ему устроить?

— Мешок?

— Да! С этой целью и запустили так глубоко, к самой Москве, а тут мешок-то и завяжут!

— Федя, неси ещё три бутылки! Неси, заплатим... Я тебе русским языком говорю: о деньгах не беспокойся! Ни-ни!

— Наполеон уж на что был вояка, и то...

— Кутузов, Дорофей Сергеич! Кутузов его в мешок заманил!

— ...на петухах гадали. Дрались чёрный петух и красный. И вот, Илюша, хочешь верь, хочешь посчитай за брехню, а только своими очами видел: сперва чёрный забивал

красного, а потом красный петух взял верх, осилил, загнал чёрного и разбил вдрызг!

— Дадим! Хлеба, другого продукта — всего дадим! За этим дело не встанет! Сами как-нибудь, дома стены помогают, а уж это — в первую очередь! Земля...

— Помолчи, Яков Захарыч, дай мне закончить...

— Земля в наших руках, а раз так... Сибирь велика!

— Сибирь велика, это правильно, а могут меня с моей ногой взять на фронт, ежели хлопотать?

— Ни в коем случае! Сиди и не рыпайся!

— А ежели я в Москву напишу?

— Говорю тебе русским языком: сиди и не рыпайся! Без тебя обойдутся! Вояка нашёлся! Не смейши людей! Ты здесь, в глубоком тылу, прояви себя, а то ты в мечтах держишь вон что, а на деле тебя не видно.

— Меня не видно?

— Нисколько! Лодырь. Стой, гад, ты... ты за что, а? Меня? Кулаком? Старика? Убелённого? На, хромая дыдорга!

— Фроська, забери его! Уведи!

— ...Кутузов хитростью взял!

— Не хитростью, а умом!

— А это всё едино!

— Нет, не всё едино!

— Фроська, уведи его, а то я ему всю морду покорябаю! Чего он лезет ко мне, к старому человеку?

— ...а кончилось тем, кума, что их бабы били! Да, вот такие же бабы, как, сказать к примеру, хотя бы ты, вилами добивали, ухватами!

— Ну, про ухваты в книгах не указано, это ты зря! У нас есть книги про ту войну. Там Денис Давыдов был.

— Денис? Был! Это был... ухарь!

— Ухарь! Вроде Кузьмы Крючкова!

— А, Кузьма Крючков — брехня! Денис Давыдов был, если ты хочешь знать исторически, скорее вроде Чапаева!

— Чапаева? О! Василия Иваныча? Да что ты? Да я ж... да мы ж с ним под одной шинелью спали, из одного котелка ели!

Гулял по Уралу Чапаев герой,
Он соколом рвался с врагами на бой!

Но песен не получилось. До песен ли? На сердце у каждого пудовый камень лежит. Немцы рвутся к Москве. К сердцу родины! Жутко. Не верится. Кошмарный сон. Проснись — и нет ничего. Но не проснёшься. Кошмарный сон обратился в явь.

По домам расходились поздно. Канифат с Палагиным долго ещё стояли у калитки и разговаривали. Полная круглая луна глядела с чистого неба на Степановку, окружённую изгородью из сухих жердей. Белые гуси, словно сугробики снега, стайками лежали на улице, около дороги. Избы с погашенными окошками думали. Но, как всегда, как год назад, как тридцать лет назад, как сто лет назад, в положенное время пропел петух, сначала похлопав крыльями. Ему не ответили. Он подождал и гаркнул ещё раз. Ага, проснулись! Ответил один, другой, сразу три или четыре, и по всей Степановке из конца в конец прокатился гул.

Х

Расшумелся ветер, разгулялся, качает, терзает деревья, гнет плетни, кусты. Густая осенняя темь затопила Степановку, поскотину, берёзы.

Васька Барабанов шёл по улице, а куда — и сам не знал. Ветер трепал его жесткие волосы, хлопал полами незастегнутой телогрейки. Вышел за поскотину, свернул налево, где слабо проступали сквозь мглу стволы берёз. Брякнулся на сухую жесткую траву, плотно прижался к земле. Вспомнил он, какими глазами глядела Фроська на Илью. А какими глазами? Влюблёнными, вот какими! На другой день

она и печь не топила и обед не варила — что ей до того, что Васька голоден? Она его в грош не ставит!

Васька не помнит, сколько времени пролежал здесь, а когда очнулся, то услышал где-то недалеко походную военную песню.

Из-за леса солнце всходит,
Ворошилов едет к нам, —

запевал высокий, звонкий, красивый голос, и десятки голосов мощно подхватили:

Из-за леса солнце всходит,
Ворошилов едет к нам,
Из-за леса солнце всходит,
Ворошилов едет к нам!

Это шли бойцы всеобуча. Каждое воскресенье собирались они из ближних колхозов в соседнее село Большое Чёрное и ходили строем, бегали, ползали по-пластунски, рыли саперными лопатками окопчики, бросали учебные гранаты.

Поравнялся он с полками,
Поздоровался, сказал...

Слушал Васька и завидовал им.

Вернувшись домой, он разделся в потемках и тихо лёг около Фроськи.

— Где был? — спросила она.

По её голосу он понял, что она ещё не спала, лежала с открытыми глазами и думала. О чём? О ком? Конечно, не о Ваське.

— Все люди, как люди, — сказал Васька, и голос его дрогнул, — только я один...

Фроська пожалела его, обняла, погладила по волосам. От них пахло ветром, полыньёю.

— В полыни лежал?

— В полыни... Уеду я!

— Куда?

— Куда-нибудь. В город.

Ему казалось, что если он проживёт несколько лет в городе, то вернётся в Степановку совсем другим человеком, станет выше ростом, шире в плечах, умнее...

— Никуда ты не уедешь!—вздыхнула Фроська. — Болтаешь только. Здесь надо работать. Учился бы на комбайнера или на тракториста. Нога не помешает за рулем сидеть. Вот тогда и люди будут смотреть на тебя совсем по-другому. Правильно старик Умнов сказал: мечты ты держишь большие, а к работе косо присажен...

XI

Ночи стояли тихие, холодные, по утрам железные крыши, жерди, комочки навоза — всё обрастало инеем, как белым пухом. Но всходило солнце, иней таял, с крыш капало, и опять начинался тёплый день с прозрачным воздухом, с чистым голубым и не по-осеннему высоким небом, только в тени, у плетней и заборов, иней лежал весь день.

Домолачивали пшеницу. Вышел и Илья поработать. И то, что он раненый, с перевязанной рукой, вертел клейтон, придавало особую серьёзность работе, не было слышно шуток, каждый делал своё дело молча, сосредоточенно и быстро. Фроська сыпала ведром зерно в клейтон, и ей казалось, что она могла бы делать эту работу без устали много дней подряд. Никита Палагин несколько раз подходил к Илье и, заглушая шум молотилки и клейтона, кричал:

— Отдыхал бы! Без тебя управимся!

В ответ на это Илья сильнее крутил лебедок и кивком головы указывал Никите на солому, льющуюся светлым потоком из молотилки, — убирай, дескать, скорее, а я сам знаю, когда мне отдохнуть. Никита пожимал плечами и опять поддевал вилами солому. Ворохи зерна, стук моло-

тилки, запах сухой полыни — всё было приятно Илье, всё родственно тревожило душу, недавнего фронтовика.

Вечером Фроська шла домой вместе с Ильей. Его рассказы о фронтовых подвигах девушек укрепляли в ней решение уехать на войну. Курсы медицинских сестер она окончила на отлично, написала в военкомат заявление.

Вскоре после этого Васька пришёл к Палагину и сердито сказал:

— Дядя Микита! Назначайте меня на ответственную работу?

— Это на какую же, к примеру сказать? Сторожем? Или там... кладовщиком?..

Раньше Никита любил пошутить над Васькой, незлобиво подразнить его, а тот сердился, стискивал кулаки, но Ваську хватали за руки и кричали со смехом:

— Какой горячий, шайтан! Давайте воды, остудить его надо!..

Теперь Васька решил мужественно перенести насмешливый взгляд Палагина, но своего добиться. Ничего, над Барабановым перестанут смеяться, хороший говор пойдёт про него.

Вот как скажут:

— Васька взялся за дело!

— Молодец! Ночи не спит! За троих работает! Вчера опять вспахал пятнадцать гектаров!..

— Какую же тебе ответственную работу? — повторил Никита.

— Любую, а так нельзя: нынче одно, завтра другое, сено вози, за глиной поезжай, где никто работать не хочет, туда и Ваську, смеются все надо мной, за глупенького считают! А я, может, умнее всех, только не дают мне ходу, только...

— Постой, постой! — хотел что-то сказать Никита, но Ваську невозможно было остановить, он решил высказать всё, что наболело, накопело на сердце в последние месяцы.

— Говорят: герои, герои! А как тут будешь героем, если тебе никакого внимания, а я, может, в душе героизм имею, у меня и фамилия военная — Барабанов... Может, мой прадед у самого Кутузова или Суворова барабанщиком был, и прозвали его Барабаном, а потом стали говорить: чьи ребяташки? Барабановы! — вот как фамилия образовалась!

— Постой, постой! — опять поднял руку Палагин, несколько пораженный выводами и доводами Васьки, но Васька заговорил ещё быстрее и громче:

— А почему, почему на фронт меня не отправить, почему? Ну хорошо, ну хорошо, в штыковой бой я не пойду, потому что прихрамываю, немцы смеяться будут и даже обрадуются, скажут: ишь, калек всех мобилизовали! — это я отлично понимаю, дядя Микита, голова у меня варит с малых лет, тут политика, а я мог бы там снаряды подвозить, я никакой бомбежки не забоюсь...

— Да погоди ты, ей-богу, дай я скажу!

— ...или даже на кухне работал бы, картошку чистил, пищу доставлял бойцам на передовую, за спиной термос со щами, в руках винтовка, а тут фашист с парашютом спускается на нашу территорию, я его — р-раз! — и ваших нет!..

Он сел на скамейку, выдернул из кармана Фроськин головной платок с кистями и вытер лоб, покрытый испариной.

Он знал, что шестого ноября колхоз отправляет на элеватор обоз с хлебом в фонд обороны. Почему бы его, Ваську, не назначить сопровождающим?

— Или я вор какой? Или вина больно уж чересчур слишком зря много пью? Нет! Никто этого про меня не скажет! А нет мне доверия — и шабаш! Не знаю, не могу понять, где тут собака зарыта? Почему вот с обозом не пошлёте?..

«А и в самом деле, ей-богу! — подумал Палагин. — Зря заклевали парня! Может, во вкус войдёт и не только, что касается, к делу пристрастится, а и вообще переменит характер! Ей-богу!».

Палагин прошёлся по комнате, ещё раз всё взвесил и, сложив на груди руки, остановился перед потомком суворовского барабанщика.

— Поезжай, Василий! Доверяем тебе, напрасно ты обиделся, ей-богу! Только уговор: доставить хлеб не только, что касается, в полной сохранности, но и вовремя, без опозданий. Двести пудов на твоей ответственности! Не шутка! И хлеб идёт не куда-либо, а для фронта.

— Большое спасибо, дядя Микита! — закричал Васька и, сильно прихрамывая, держа в руках шапку, быстро вышел.

XII

Накануне шестого ноября пошёл снег. Крупные хлопья лениво покачивались, кружились в воздухе, опускались на землю, на крыши, на жерди осторожно, нежно, как бы боясь рассыпаться. Тепла и тиха была эта ночь, улица побелела, и в конце деревни долго лаяла молоденькая собачка — она увидела снег первый раз в жизни и была сильно этим встревожена.

Ещё не начинало светать, когда из Степановки выехало в поле десять подвод с хлебом. Зерно было насыпано в бестарки — большие ящики, прочно приколоченные к телегам, — и покрыто брезентом. На переднем возу сидел Васька в старом тулупчике, натянутом на новую телогрейку, а на заднем — Дорофей в шубе и в измятом жестком дождевике. На остальных подводах никого не было, лошади без понуканий тянулись за передней телегой.

Хотя и выпал снег, но слой его был очень тонок, кочки не закрыло, на санях ехать нельзя, но и на телегах плохо в эту пору года, про которую не зря старыми людьми сказано, что она ни колеса, ни полоза не любит. Колеса вертелись с трудом, деготь в ступицах застывал, к ободам приставал снег. Дул сильный морозный ветер, забуранило.

Дорофей повертелся-повертелся на своем месте, достал из мешка холодную ватрушку, пожевал, чтобы разогнать

скуку, не разогнал, прилёг на пшеницу, укрылся с головой дождевиком и заснул, покачиваясь на возу, как в зыбке, и вот уже снежку насыпало на него столько, что побелели складки одежды.

Васька озяб. Сначала он, разгорячённый сборами, думал о том, что вот он хотя и не на войне, но вроде бы и на войне — подвозит продукты воинам, и ему очень хотелось, чтобы те, кто теперь в окопах, видели его. Но холод пробирал все сильнее, монотонный скрип телеги утомлял, навевая дремоту. Он тоже укрылся, как Дорофей, прилёг, закрыл глаза и дал полную свободу своим мыслям.

Получив полную свободу, Васькины мысли сконструировали невиданный аппарат. Луч длиною в полсотни километров идёт из аппарата; навёл этот луч на летящие немецкие самолеты — и они вспыхивают в воздухе, горят, как солома. На танки навёл — танки пылают. И пошли, и пошли наши войска вперёд на запад... Да... И пошли... Вот уж и в Берлине. Ваську Барабанова вызывают в Москву, спрашивают: как наградить? Чего он желает?..

Но тут, на какой-то зловредной ухабине телега так накренилась, что Васька без всяких наград вернулся к действительности. Неловко спрыгнул с воза, отряхнулся и пошёл рядом с телегой. Иногда Васька останавливался, пропускал мимо себя все подводы — ещё бы, старший, отвечает за всё! — и, убедившись, что обоз в полном порядке, догонял переднюю подводу, на которой шумел, хлопал, то свиваясь жгутом, то развертываясь во всю ширину и длину большой кусок нового густокрасного полотна, прикрепленный к тонкому деревку.

— Дедушка Дорофей, замерзнешь! — крикнул он в шутку.

Дорофей испуганно приподнялся, сдернул с головы капюшон, оглянулся и, невпопад засмеявшись, лег снова. Больше Васька не беспокоил его — пусть спит старик.

Нет никого в поле. Сорока, сидя на вершине стога, подозрительно посмотрела на Ваську и решила переле-

теть на берёзу... Двадцать километров до районного села Степного — едешь-едешь, надоест. Васька опять забрался на телегу и накрылся тулупчиком, чтобы под убаюкивающей свист ветра додумать те сладкие думы насчёт луча и наград.

Завтра седьмое ноября, в Москве на Красной площади будет, наверно, парад вооруженных сил, и, может быть, прямо с парада, прямо с Красной площади воинские части пойдут на фронт. Да «не может быть», а точно так и будет, потому что немцы близко, Гитлер собирался в этот день устроить на Красной площади свой парад, чёрный парад, фашистский парад! Васька вскочил. Ах, как бы нужен теперь этот луч! Слёзы выступили, задохнулся Васька. До чего дожили! Фашисты под Москвой!..

Откуда-то из кустов или из-за стога сена вышел человек в черной шапке с завязанными под подбородком наушниками, в толстом зелёном пиджаке, подпоясанном широким солдатским ремнем. Попросив у Васьки прикурить, он пошёл рядом с телегой, поговаривая о том да о сем, поеживаясь от стужи; приподнял полог, взял с полгорсти пшеницы, внимательно рассмотрел её на ладони, понюхал и спросил:

— Не с полынью? А то горькопопынный хлеб на элеваторе не принимают, отправляют обратно. И с повышенной влажностью не берут, заставят досушивать.

— Это мы знаем, — сказал Васька, чувствуя необъяснимую неприязнь к собеседнику и настораживаясь. Не шпион ли? Под каким только видом не проникают теперь шпионы? Рассказывали в Степановке: где-то на базаре сидел слепой, играл на гармошке, а в гармошке-то у него оказался специальный аппарат, он передавал врагам, что нужно. Вот тебе и слепой!..

И у этого типа физиономия весьма подозрительна. Что-то глаза больно уж маленькие, спрятанные, и не заглянешь в них, а говорит быстро, неразборчиво и вроде слюной побрызгивает, пришлепывая губами.

— Товарищ-то как у тебя, браток, хороший парень-то? — спросил он, оглядываясь.

— А что?

— Да так, ничего, к слову только.. Ты сыпни-ка мне с пудик пшенички, никто не увидит.

Тут он выхватил из кармана ватных брюк поллитровку, показал ее, подразнил Ваську и опять спрятал.

— Теперь, браток, вина-то за сто рублей не найдешь. Чего тут думать-то, хлопать ушами? Вот у меня и мешочек с собой. Ведь без веса сыпали, ящиком, на глазок, знаю, как в колхозах делается. Вешать-то на элеваторе будут. Сколько выйдет, на столько и квитанец выпишут. А один пуд — это капля!

«Неужто шпион?» — ужаснулся Васька. Но попросил все же:

— Ты продай поллитру-то за деньги! — он давно уже подумывал, что не мешало бы выпить для тепла.

Тот усмехнулся.

— Нет, дорогой, денег у меня у самого хватает, тебе одолжу, если хочешь... Понять вот не могу, строгость, что ли, большая в колхозах стала? В те годы — в тридцать четвертом, тридцать пятом — выйдешь вот эдак на дорогу с поллитровкой, встретишь ребят с хлебом — и без всяких разговоров.

— Сейчас ты три недели будешь ходить и всё напрасно, — сказал Васька. — Время другое. Раньше хлеб возили всякие люди, непроверенные, а теперь на эту работу назначают только самых честных, идейных.

— Ловко ты сам себя хвалишь! — усмехнулся тот и вдруг совсем обнаглел, так и лезет на телегу, сует руку в пшеницу, припасает мешок...

Это был Васька Шиндин. Жил он в Степном, на самой окраине. Говорили, будто нигде не работает, ходит с клюшкой, занимается спекуляцией. Сейчас Шиндин решил, видно, что этому продрогшему парню страшно хочется выпить, только не хватает у него смелости насыпать пшеницы. Он бросил бутылку с вином в передок телеги.

— Держи посуду, я сам насыплю!

Васька натянул вожжи.

— Т-прру! — и, нащупывая в складках сбившегося брезента кнутовище, хрипло заорал:

— Я тебе, сейчас насыплю, я тебе сейчас насыплю!

Обоз остановился. Проснулся Дорофей, подошёл к Барбанову.

— Э-ге-ге! Это что у вас тут произошло?.. Вот как?! В милицию его, шельмеца!

— Отец! — обратился Шиндин к Дорофею. — Нет, ты послушай. Ничего мне не надо, я только вас испытать хотел, вашу совесть проверил! Я из райисполкома! Я там служу!

— Вот мы тебя и отвезём в райисполком, по месту службы, — сказал Дорофей. — Вяжи его, Васька!

Шиндин, забыв о бутылке, метнулся от подводы.

XIII

Все уже знали, что Фроська уезжает на фронт. Над Васькой подсмеивались.

— Он кто же у нас будет теперь? Солдатка?

— Не тужи, Василий, станем помогать тебе, как мужу красноармейки!

— Дров привезём...

Васька краснел, руки тряслись от обиды.

— Жила бы дома, — ворчал он на Фроську. — Там без тебя обойдутся.

И другие мысли невольно лезли ему в голову... Дело молодое... Фроська красивая, полюбит её какой-нибудь лейтенант, и выйдет она после войны замуж за него, и уедет с ним в тёплые края, где виноград растёт...

— Конфузишь ты меня! — сетовал он. — Ишь, как получается: я, мужик, дома, а ты, баба, на войне. Шиворот-навыворот, на смех людям!..

Наступил день отъезда. В черном полушубке с бедой опушкой по рукавам и карманам, в серой пуховой шали, Фроська стояла на пороге и протягивала ему руку, но он

и смотреть на неё не хотел. Он сидел за столом и глядел в окошко. И, конечно, «баню топил», то-есть курил, дымил.

— Ну, прощай, что ли? — сказала Фроська. — Может, не увидимся больше. На станцию проводил бы меня, эх, ты!

— Нечего тут... — буркнул Васька.

Она постояла ещё немного, подумала и вышла, сильно хлопнув дверью.

Васька видел, как она перебежала дорогу, торопливо вытирая слёзы, простилась со всеми, кто вышел проводить её. Серый колхозный жеребец рванул широкие санирозвальни, закрутилась за ними снежная пыль. Красный от мороза мальчишка в шубенке не по росту, на коньках, ухватился за сани длинным проволочным крючком и поехал, используя даровую тягловую силу. Пестрая собака бежала рядом с санями, ибо в санях сидел и правил жеребцом её хозяин, старик Ерошён, а разве она отстанет от хозяина?

Мелькнули крайние избы, плетни, вот уже осталась позади поскотина с кривыми воротами. Грустно было Фроське, что никто из родных не провожает её. Мать проводила бы и поплакала, но она уже давным-давно лежит в сырой земле вот здесь, за Степановкой, среди старых толстых берёз. Фроська поглядела в тот угол кладбища, где была могила матери.

Нет, Васька зря не поехал на станцию, ведь, что ни говори, прожили вместе шесть лет и когда-то любили друг друга.

Шуршит снег под санями... Прощай, родная Степановка, небольшая сибирская деревенька среди полей и берёзовых перелесков! Здесь Фроська бегала босиком, в посконной рубашке, похожей на мешок, носила отцу на покос хлеб, молоко и вареную картошку. В этой низинке, около ручья, занесённого теперь снегом, стояли в жаркий июльский полдень коровы, отмахиваясь хвостами от мух, маленькая Фроська сидела на траве и обрывала головки с цветов, брала в рот стебель одуванчика, выделяющий горькое молочко, и приговаривала: «Бабка, бабка, завей кудри колесом!», и стояло



повторить эту просьбу раз пятьдесят, как стебель во рту расщеплялся на четыре дольки, и они завивались в кудри. Или ловила кузнечика, держала его на ладони и бубнила:

— Кузнец, кузнец, дай смолы!

Кузнец долго вслушивался в это бормотанье, стараясь понять, что от него требуется, затем оставлял на ладони капельку смолы, после чего получал полную свободу. А в тени, под кустом черёмухи, обедал отец, и собачка сидела рядом с ним, смотрела на его жующий рот, склонив голову набок, и ждала терпеливо, когда наступит её очередь кушать. Отец был маленький, костлявый, с чёрной бородкой, и дразнили его Шкаликком. Как он не любил это прозвище! Какой бы важной и срочной работой ни был он занят на своём дворе или около двора, но если озорной мальчишка, крепко надевшийся на свои быстрые ноги, проходя мимо, выкрикивал это прозвище, сразу, конечно, пускаясь наутёк, — отец всё бросал и бежал его догонять. В крапиве, на дворе, в избе на печи, — а всё равно поймает, надерет уши.

Помнит Фроська, как отец собрался однажды на заботки, вышел со двора с котомкой за спиной, с палочкой в руке, и не вернулся домой, пропал где-то.

Здесь, в Степановке, пела Фроська в весенние вечера старинные песни, от которых до сих пор щемит сердце, и почему-то кажется, что эти протяжные напевы навеки вплелись в вечерние алые зори. Здесь она похоронила своего единственного ребёнка.

Она ехала...

А Васька сидел за столом, как окаменелый, и глядел на окошко, на которое мороз начинал накладывать тонкие рисунки, на одном стекле нарисовал капустный лист, голубоватый и со всеми прожилками.

Наступал вечер, изба быстро выстывала, словно Фроська увезла с собой тепло, и ветер в трубе гудел так громко и так уныло, как никогда не гудел при Фроське. Больно сжалось Васькино сердце. Только теперь вдруг стало ясно ему — дошло! — что ведь Фроська-то не на базар в Степное поеха-

ла, не скоро вернётся она, а, может быть, совсем не вернётся. И постареет Васька, и волосы у него поседеют, а её не будет и не будет. Нет, надо обязательно сказать ей на прощанье что-то ласковое, подержать за руки, обнять, поцеловать...

Он надел тулупчик, взял палку и заторопился в Степное.

Когда он отошёл от Степановки километра два, ветер усилился, сугробы задымились, в воздухе замельтешил снег, словно в молоке потонули перелески, всё исчезло из глаз. Ветер взвизгивал над головой, толкал Ваську, сбивал с дороги. Васька подумал, что опасно пускаться в такой далекий путь в дурную погоду, да ещё на ночь глядя, что лучше бы вернуться, а то можно замёрзнуть. Вспомнился ему печальный рассказ о Савелии Куприянове. Три года был Савелий на фронте в первую мировую войну, шёл домой, к жене да к детям вот в такую же метель, ночью, потерял дорогу, выбился из сил и замёрз около своего огорода. Так и нашли его, рассказывают: стоит, закоченелый, и держится руками за частокол, и весь занесен снегом.

Но Васька отгонял эти мысли, он отчаянно рвался вперёд, он согласен замёрзнуть, нежели вернуться дамой, не повидав Фроську. Придёт весна-красна, в полях цветочки зацветут, приедет Фроська» и расскажут ей грустно, что с Василием-то беда случилась.

— Побежал тогда тебя провожать, да и...

Что скажет тогда Фроська? Неужели не пожалеет его? Врёшь! Пожалеет, ещё как!

Смеркалось. Мелькнул и опять скрылся огонёк в стороне, запахло сладким осиновым дымом.

— Калинин Падун! — узнал Васька деревню, и ноги подсеклись, ослабели. Только Калинин Падун! От него до Степного четырнадцать километров! А дорогу заносит, ноги вязнут, как в песке, ветер облепляет тулупом ноги, связывает их. Зачем он не попросил лошадь у дяди Никиты? Зачем? Боялся насмешек, скажут: не успела Фроська от Степановки отъехать, а ты уж затосковал!

Горький ком подступил к горлу. В валенки набил-ся снег. Он сел, чтобы переобуться, а ветер вырвал у него из рук портянку. Васька бросился за портянкой, и портянку не нашёл, и потерял то место, где остался валенок. Дело гиблое! Надо хоть ползком добраться до Калинкина Падуна, он же где-то тут, рядом...

Клонило в сон, под тулупчиком было хорошо, уютно, снег и ветер шуршали по овчинам, как по крыше. Вдруг почудилось Ваське, что он на войне, ранен, а Фроська перевязывает ему голову и целует его. Потом он увидел те берёзы, которые стоят возле Степановки, за поскотиной. Весна, цветёт черёмуха, трава густая и высокая, и все травинки удивительно похожи друг на друга, а вдалеке, за берёзами, стоит Фроська в белой вышитой кофте и смеётся, и зовёт его, машет рукой...

...Палагин, узнав, что Васька отправился в Степное, послал вдогонку ему подводу. Поехал Канифат. Чуть не наступив на притихшего под тулупом и замеченного снегом Ваську, лошадь фыркнула, метнулась в сторону и остановилась. Канифат завёз Барабанова в Калинкин Падун. Там его долго оттирала снегом...

XIV

Васька живет в своей избушке один. Мать уговаривала: — К нам переходи. Одному плохо. Запустишь всё, в грязи утонешь...

Но он не пошёл к матери и в грязи не утонул. Раз в неделю, по субботам, моет пол, побелил печь и стены, каждый день взбивает подушки, — словом, всё делает так, как делала Фроська, и порою кажется ему, что Фроська дома. Вот сейчас захрустит снег на крыльце, и она, с двумя ведрами на коромысле, боком войдёт в избу, одно ведро уже в избе, а другое ещё в сенках, за порогом, и морозный воздух, воспользовавшись этим, белыми шарами вкатывается в тёплое помещение.

Открыл он сундук, где хранятся фроськины кофты и платья, и заплакал. Из сундука пахнуло духами, словно сама она в праздничный день вошла в избу. Вот, вот оно, голубое платье, в котором она ходила, когда была невестой!

Сладкая, мучительная боль ущемила сердце. Он закрыл сундук, отошёл к столу и так глубоко вздохнул, что погасил лампу. Изба налилась тьмой, а потом на столе появилась полоса лунного света, словно полотенце раскатилось. Долго глядел Васька в окошко на дорогу. Далеко в поле, на светлом лунном снегу, чернела, будто из угля вырезанная, подвода, увеличиваясь, приближаясь к Степановке... Не Фроська ли едет? Нет, не она! Подвода свернула в сторону и спряталась за чёрными кустами.

Маленькая, затерявшаяся в сибирских снегах Степановка знала голос Левитана. Немцы под Москвой разбиты в пух и прах, — вот что передал в Степановку этот голос. Враги вступили в Москву как пленные, в лохмотьях, в русских бабьих платках, в бабьих юбках, намотанных на шею. Хорошо!..

В полночь Дарька берёт фонарь, идёт в коровник. Все спят. Глубокая тишина в Степановке, такая тишина, что, кажется, в мире ещё и пороха нет и нет ни одной машины. Только иногда гулко треснет от мороза угол избы... словно выстрелили. Снег крикает под ногами, как утка. Тихо стоят у забора берёзы, иней на них — тулупом.

В скотных дворах пахнет теплом, коровьим дыханием и навозом.

Корова лежит на соломе, оглядывается с тревогой на свой вздувшийся горой бок и мычит каким-то особенным, густым, одичавшим голосом. Канифат с засученными рукавами хлопочет около неё. Дарька светит ему фонарём, затем покрывает скользкого мокрого телёнка сухой мешковиной, и несёт его в избушку. В низенькой печке горят чистые берёзовые дрова, и пламя такое чистое, светлое!

Скрипит снег за стеной, и в избушку входит Васька Барбанов. Он с фонарём и в длинном тулупе. Вскоре после того, как уехала Фроська, Палагин сказал ему:

— Что ж, Василий? Фрося-то фермой заведывала, а теперь у нас такое правило: жены мужьёв заменяют, а мужья обязаны жён заменять. Ей-богу! Становись на её место, принимай ферму.

Васька с радостью согласился. Здесь всё ему напоминало о ней, о Фроське. Это по её настоянию сшили всем дояркам белые халаты, это она выбелила в коровнике клетки.

Вместе с Васькой в избушку врывается мороз, фонарь обволакивается туманом и светит тускло.

— «Фиалка» отелилась? — спрашивает Васька.

Каких имен ни надавала Фроська коровам! «Фиалка», «Незабудка», «Роза», «Мимоза»... цветник, а не коровник!..

— Отелилась, — отвечает Дарька. — Вот только-только. Молоко грею.

Васька направляет свет фонаря на пестрого теленка, отдыхающего на золотой соломе, гладит его лобик.

— Бычок?

— Бычок.

Васька подкладывает в печку дров, садится на обрубок бревна и, распахнув шубу, достает из кармана кисет с табаком. Потом он читает Дарьке газету. И долго сидят они тут, в маленькой избушке около печи, и говорят об Илье, о Фроське и о том, как хорошо будет жить, когда кончится война, — наверное, последняя уж война на земном шаре.



ЗЕЛЁНОЕ ЗАХОЛУСТЬЕ

I

В одном месте от реки Оби отделился довольно широкий рукав, отделился и пошёл в сторону, налево, на запад, не захотел течь по готовому руслу, решил своё промыть, проложить. Отошёл километров двенадцать, и его уже признали самостоятельной рекой и дали имя, но, запутавшись в густых камышах, призадумался рукав-отщепенец, загрустил о большой воде и вернулся с повинной к матушке, и великая река охотно приняла блудного сына в свое лоно, километрах в двадцати от того места, где он отделился. Если взглянуть с высоты и отрезок Оби принять за кувшин, то рукав будет как бы ручкой этого кувшина.

Вот на этом-то влажном, травяном островке, между Обью и рукавом её, и очутились мы, пять душ, с косами и с запасом продуктов. Из районного центра до села Малинного, что стоит на правом, высоком, сухом берегу, мы ехали на машине, от Малинного нас переправили на остров на лодке, причём лодка не по прямой линии пересекла Обь, а прошла сначала вниз по течению километров десять, а потом уж приткнулась к левому берегу, заросшему соснами, берёзами, черёмухой, смородиной — да мало ли ещё чем, всё не назовешь.

Куски берега, подмываемого водой, сползают в Обь вместе с растущими на них травами, цветами, кустами и деревьями, на глазах у нас одна красавица-сосна со всего роста с шумом бухнулась в воду, словно решила искупаться.

Окунулась, вынырнула и поплыла в Северный Ледовитый океан, к белым медведям, моржам и тюленям. А вот и берёза шлёпнулась в воду, взметнула брызги и поплыла вслед за сосной. И сколько их за год смывает и уносит Обь — это никому не известно. Или известно?

Какая глушь на островке! Да живёт ли здесь кто-нибудь? Или это и есть край непуганых птиц? Свистя крыльями, утки пролетают над нами по две, по четыре и целыми табунами и словно дразнят — вот, мол, сколько нас, но косами вы не достанете, а ружья у вас нет! Они правы: нет у нас никакого ружьишка.

Молодой коростель выскочил из травы прямо на нас и, будто чего-то спохватившись, побежал на длинных ногах в осоку, в кочки. Два сказочно-прекрасных белых лебедя с длинными волнистыми, тонкими и легкими, как платки, крыльями пролетели над нами и скрылись за Обью. Вот уж действительно «мимолетное виденье»! И куда спешат, покружились бы над островком, дали бы нам возможность наглядеться на них досыта!

Мы начали косить. Прошли по рядочку, по другому, по третьему. Десятки, а может, сотни разных трав перепутались, ухитряясь при этом как-то совершенно не мешать друг другу, и нет обиженных, ущемлённых, притеснённых в этой роскошной тесноте, прострётной цветами. Не знаю, что это за цветы — на высоких стеблях, величиною с детский кулачок и красные-красные... как что? Даже сравнение не найдёшь сразу. Смотришь на такой цветок, ходишь вокруг, словно ждёшь от него самого, не объяснит ли он, как его зовут и где он взял краску для своих широких лепестков?

Косим вместе с травами ягоды — красную костянику, и почему-то приятно думать о том, что зимой, в мороз, в метель, в охалке сена попадётся корове веточка с сушёными ягодами, хотя самой-то корове и дела до них нет. Косим иногда и грибы, поскольку они попадают в траве, — вот грибы легко косить!

Бабочка с желто-пестрыми крыльями из дешевенького ситца вьётся над луговиной и не знает, на какой цветок сесть, этот хорош, а тот ещё лучше. Кузнечики доверчиво садятся на руки нам, а иной сядет на косьё и катается на нем и вправо и влево — сиди, катайся, тяжесть невелика!

Поленница дров сложена под берёзой — значит, люди бывают здесь! Правда, дрова напилены, наколоты и сложены уже давно, они потемнели и заросли травой. На широкой поляне далеко одна от другой стоят толстые старые берёзы, кора полопалась; Длинная берёза лежит в траве и цветах, наступишь на белый ствол — он мягкий, как вата, и на нём уже местами, как на земле, растёт трава. Так он и пропадёт, и только там, где он лежит теперь, трава будет, потом выше, гуще и не светло-зеленой, а тёмно-зелёной.

Большая, тяжёлая, как откормленная домашняя курица, пестрая куропатка, путаясь в траве и цветах, вылетела из-под куста, описала, квохча, траекторию в воздухе и скрылась под другим кустом: куст словно выстрелил куропаткой в другой куст и точно попал в цель.

II

Рядом с нами... болото — не болото, река — не река, узкая полоска темной стоячей воды, около берегов осока, кувшинки, ряска, жуки-плавунцы бегают по воде, не проваливаясь, не протыкая ногами невидимой нам тончайшей водяной пленки; лягушонок сидит на пластинке листа, и одна стрекоза на другой стрекозе летает над водой, как на самолетике. А по ту сторону протоки, только теперь заметили мы, — пшеница. Значит, действительно, есть жители где-то недалеко. Есть: вдоль пшеницы идёт девчонка, босая, в синей кофте и красном платочке. Откуда она и куда? Мишка у нас — самый молодой, ему и поболтать с ней.

— Э-ей, сестренка! — кричит он через протоку. — Ты откуда взялась, с облаков свалилась, с дождём выпала?

— Ага, с дождём выпала, вчера только!

— А где живешь, в болоте?

— Ага, в болоте.

— Русалка?

— Ага, русалка.

— А семья-то большая?

— Семья небольшая: я да мой отец!

— Плохо ты Некрасова знаешь! — комментирует Мишка, а русалка уже канула в зелёный омут кустов и высоких, выше её, синих и белых цветов, тех самых, из толстых полых стеблей которых ребятишки делают дудки и насосы... Ну вот, не только оказывается живут здесь, а даже Некрасова знают, хоть плохо, но знают. А немного погодя мы услышали там, всё за той же протокой, постукивание мотора и женские голоса — трактор тянул волокушу, а на ней разместились бригада, краснели и желтели платки, кофты. К вечеру бригада поставила скирду сена. Скирдоправ в синей рубахе, стоя на скирде, принимал срубленные берёзки и связывал их вершинки.

III

Нам нужно накосить и сметать в стога столько-то тонн сена и — домой, и долой отсюда, от ночёвок в травяном шалаше, от комаров. Нам нужна хорошая погода, дождь нам теперь — злейший враг. Появилась на небе тучка, или громыхнул где-то далеко гром — беда! Трава в рядочках просохла, завтра собираемся копнить... неужели дождь? Нет, слава богу, тучка только пугнула нас и ушла в сторону.

— Иди, иди! — весело кричит Сергей, наш старший, самый ловкий и самый опытный в сенокосных делах, машет на тучу граблями и ругается. — Иди отсюда к...

И куда только он не посылал тучи! Однажды тёмная, тяжёлая, как глыба чернозёма, туча решительно двинулась на нас, и вот уже метнулась по ней тоненькая бледная молния и заворчал гром, но Сергей, тыча в воздух вилами, обратился к туче с такой пламенной речью, столько вознёс к ней самой изысканной брани, что бедная туча и не рада была, что забрела в наши места. Она сконфуженно притих-

ла, остановилась, послушала и, не уронив ни единой капельки, стала удаляться, пятиться...

— Иди туда, где просят, а не туда, где косят! — назидательно сказал Сергей, но так как её нигде не просили в эти дни, то она и пролилась в Обь.

А в другой раз, поздно вечером, а вернее сказать — совсем уже ночью, когда мы после ужина сидели возле угасающего костра, Сергей долго ходил вокруг шалаша, между берёз, с палкой в руке, кого-то высматривал, подстерегал... Остановился, прислушался, кинулся в сторону, бросил палкой, мстительно крикнув при этом.

— Что там? — спросили мы, когда Сергей подошёл к огоньку, запыхавшийся и явно расстроенный, огорченный чем-то.

— Бурундук, гад! — ответил он, вытирая ладонью вспотевший лоб. — Бурундук чуфыкает?!

— Ну и что?

— Как — что? Он же к дождю чуфыкает!..

Косит Сергей хорошо, идёт прямо, не сгибается, косой водит плавно, красиво, без напряжения — словно грибы косит, а не траву. Ряд у него широкий, впрочем, у него всё широкое — и плечи, и лицо, и душа, и, не в обиду ему будь сказано, глотка: переспорить его, перекричать едва ли кому удавалось. Он сокрушает противника не логикой, а взрывом чувств, бурей слов, высоким звенящим голосом, наступая на противника и грозит пальцем так близко перед его носом, что противник невольно пятится, подняв руки, и кричит только одно:

— Да что ты орёшь, да что ты орёшь, да что ты орёшь? Ты погоди, ты разберись, ты послушай...

Но годить, разбираться, слушать Сергей не способен в это время. Давно-давно жил в нашем селе страшно вспыльчивый мужик Федор Пияшин, с чёрными кудрявыми, как у Сергея, волосами и с такой же, с бутылочное доньшко, лысинкой на затылке — так Федора прозвали Бураном. Вот и Сергею шло бы это прозвище.

Сергей, конечно, идёт с косою самым первым, ведущим, за ним его племянник Мишка, парень, как уже сказано, молодой, недавно из восьмилетки, и косит он прилежно, чисто, словно контрольную работу пишет по русскому, стараясь не сделать ни одной ошибки и получить высшую отметку. Крестьянскую работу он знает хорошо, он у нас за скирдоправа, а это дело нешуточное. Он собирается поступить в вечернюю школу, кончить её и — в институт, и здесь, на покосе, всё повторяет формулы да теоремы.

За ним идёт Гришка, армянин, маленький, чёрный, как жук. Он оторвал козырёк от фуражки и превратил её таким образом в берет. В Сибирь из цветущей Армении он приехал не чин-чином, а по иным причинам — был в заключении где-то на Севере, потом осел здесь, на берегах Оби, и обзавёлся семьей. Он говорит, что в армии был лейтенантом. Мишка ставит этот факт под сомнение, и между ними возникают шумные ссоры. Гришка кипит, выходит из себя, бросает на землю берет, плюет. Был лейтенантом — и всё! А доказать нечем, документов таких нет.

— Ну, какой ты лейтенант? Ну, кто поверит?..

Впрочем, все это у них так только, по дружески, одна потеха.

Косит Гришка неправильно, не по-крестьянски, рубит траву, рвёт, но — из кожи выскочит, а от Мишки не отстанет, а Мишка не отстает от Сергея, а Сергей жмёт. За Гришкой идёт Вася, четвёртый член нашей бригады, в полинявшем добела и порванном картузишке, в резиновых сапогах. Он согнулся, косит с большим трудом, ему неловко перед товарищами, он немножко отстаёт. Все закончили свои ряды, наточили косы, а Вася только заканчивает, тяжело дышит.

— Дай-ка сюда! — берёт у него Сергей косу. — Вот так держи, Вася! Вот так, вот так! Неужели ты не косил никогда?

Вася говорит, что не приходилось, он никак не может приноровиться к этой работе. Может быть.



IV

В осоке нашли мы лодку, легкую, как балалайка, долбленную, сухую, здесь она называется — обласком. Мишка ухватил её за нос и поволок, она скользит по траве, как по воде, в густой осоке не достаёт дном до земли.

— Положи на место, хозяин придёт — он тебе задаст! — строго приказал Сергей. — Так задаст, что и за шишками не надо ходить!

Тут игра слов: Мишка собирался за кедровыми шишками, кедры недалеко...

Вот и хозяин, легок на помине, вынырнул из камышей, словно коростель, — старичок в измятом брезентовом дождевике нараспашку, в порванном картузишке, с седенькой бородкой — три волоска, говорят про такую бородку. Мы сели с ним рядом на опрокинутую лодчонку, закурили, завели разговор, спросили, откуда он?

— А вот же, из Луговой! — махнул он рукой куда-то в камыши и осоку. — Недалеко деревня тут!

Он достал из кармана грязный кисет, такой же изношенный, подстать дождевику, картузу и лицу, сморщенному так, что больше уж, кажется, ни одной морщинки, даже самой маленькой, невозможно добавить. Левая рука изуродована: все пальцы, кроме большого, давно когда-то растаяли, словно воск, и слиплись, слились в тяжелую культышку. Оказывается, как я узнал позже, в детстве ошпарил кипятком. Это и было причиной того, что старик, доживая восьмой десяток, ни разу не видел железной дороги, паровоза. В солдаты его не брали, а самому не было надобности выезжать из деревни Луговой дальше села Малинного, где были сельсовет и правление колхоза, а в крайнем случае — в районный центр на базар с карасями. Так про него и говорили, как про диковину:

— А в Луговой живёт один старик, который никогда в жизни паровоза не видал!

Но и старик находил чудаков, до смешного отставших от жизни.

— А есть такие люди, — говорил он, посмеиваясь, — которые сроду не видали, как карасей ловят! Смехи! Это на базаре опрашивает меня: а как, говорит, ты ловишь их, дед?

— А откуда им знать, раз никогда не ловили?!

— Нет! Никогда не ловили! Смехи — да и только!..

Покурив с нами и расспросив, для какой организации мы косим, и не накосим ли между делом ему для коровы, а он за это даст нам барана на мясо, старик толкнул лёгкий обласок в «оду, сел в него, взял весло, выплыл на середину протоки и выбрал сети. Мало оказалось карасей в сетях, с полведра. Он сложил их в мешок и мешок старый, грязный, в заплатках — все, как нарочно, подобрано крайне ветхое, вроде для единства стиля — перекинул ношу через плечо на спину.

— Ночью гром был, вот и мало карасей попало! — объяснил он. — Караси грома боятся, на дно уходят!

— И зимой ловишь?

— Ловлю. Прорубь пробью и ловлю.

И он пошёл по высокой жесткой шумящей осоке и скоро скрылся в зелёной гуще.

— В войну я в Малинном жил, — рассказывал он позднее, когда я зашёл к нему как-то. — Колёса работал, и даже наградили медалью!

Он поднял крышку «сундука и стал искать среди старухиных кофт и платков медаль, а я подумал о том, что, вполне возможно, сработанные им колеса доехали до Берлина и обратно вернулись, и теперь ещё катятся где-нибудь по пыльным дорогам. Сам нигде не бывал, зато его колеса далеко бывали!

V

Ночью долго сидим около шалаша, на берегу болотца, над огнём висит на палке ведро, варится ужин. Выпросили

у того старика старенькую сеть — и ловим карасей, с покоса приносим грибы.

Тихо, тепло «ночью, луна сонно смотрит в осоку, в болотце, на наш огонёк. Наконец, один за другим на четвереньках вползаем в шалаш, последний затыкает лазейку, чтобы комары не налетели; «нащупываем свои места, свои постели в крошечной тьме, насыщенной густым, приторным запахом вянущих трав. Но комары всё же «проникают, лезут под одеяло, и сам не поймёшь утром: спал сколько-нибудь или только мучался всю ночь? Нет, надо забирать постели и уходить в эту самую деревню Луговую. Так мы и сделали, оставив шалаш на произвол судьбы, — хоть волки ночуй в нём.

Вот и деревня показалась вдали, крыши, огороды с подсолнечниками. Две недели не слышали мы собачьего лая, петушиного пения, и как теперь сладостны эти звуки! Около самой деревни путь нам «преградила вода в низине, перешли вброд, сняв сапоги и засучив выше колен брюки. На сыром зелёном берегу ошципываются гуси, осыпая луговину белым пухом, как снегом.

На краю деревни стоят под открытым небом два комбайна, около них играют ребяташки, залезают внутрь, колотят по стенкам палками — гулко!

Вот она, деревня Луговая, дворов сорок, сосны и ели залезли в огороды, или, наоборот, огороды залезли в сосны и ели — как хочешь считай.

Голова в сером платке высунулась из окошка и позвала с непередаваемой нежностью в голосе:

— Еремочка, Еремочка, Еремочка!

Белый поросенок — это и есть Еремочка — оставил в покое грязь, в которой выкапывал что-то своим дотошным пяточком, и, радостно повизгивая, посыпал всеми четырьмя ножками на зов хозяйки. Она, между тем, вопросительно глядела на нас, людей нездешних, со свертками под мышкой. Выслушав, что нам нужно, сказала:

— Идите к Дуньке, вон её изба наискосок, без крыши, трава вокруг трубы! Дунька пускает на квартиру. Разве тем

не понравится, что скандалы у них каждый божий день, со снохой, чуть не до драки. Собрались... одна задериха, другая неспустиха!

Ну, это нас не касается, пусть скандалят между собой.

Идём к этой избе, на плоской крыше «которой, а вернее на потолке, засыпанном землей, растёт такая травища, что хочется залезть туда с косой. Вошли во двор, открыв ворота, сколоченные из трёх жердочек.

Дунька-то — собственно, уже не Дунька, а давным-давно Евдокия, ей полсотни лет. Круглое лицо, кругленький, как яблочко, нос, круглые голубые глаза, но какое-то суровое лицо, осеннее, ненастное, без солнышка! Босые ноги в пыли и в навозе.

На крыльце умывался, фыркающая и расплескивая воду, только что вернувшийся с покоса её сын Димка, как мы узнали потом, ему лет тридцать с лишним, просмоленное солнцем лицо, длинные чёрные волосы. По двору шла, тоже босиком его жена Феня, она несла в корыте какой-то корм, а за нею бежали, грубо толкая друг друга, две свиньи, два телёнка, четыре поросёнка — визг, хрюканье, все страшно проголодались. Однако, поставив на землю лакомое блюдо, Феня допустила к нему только одного поросёнка, а всю остальную живность стала довольно энергично отгонять хворостиной и пинками. Оказывается, вся скотина, кроме того счастливого поросёнка, принадлежит свекрови, и кормить чужую скотину, само собой разумеется, Феня не обязана. Живут они отдельно: Евдокия «себе», как она рассказывала: потом, а Димка с Феней «себе», на два дома, хотя, и под одной крышей, то-есть под одним потолком, я всё забываю, что крыши-то нет. Огромная свинья нахально охватила из корыта порцию болтушки, но, получив пинок, с негодующим визгом отскочила прочь.

— Ты что, гладкая, чужую скотину бьёшь, паралич тебя расшиби? — вежливо обратилась к снохе Евдокия, прервав на время наши переговоры насчёт квартиры, и таким крепким голосом, какой мог выработаться только в резуль-

тате систематической тренировки. Сразу видно, что она в обиду себя не даст, за словом в карман не полезет и отбрышется от семерых. — А твой поросёнок из моего корыта в тот раз простоквашу слопал, это ничего, это можно, это хорошо, паралич его расшиби?

Феня хотела ответить что-то, но посмотрела на нас, людей посторонних, и постеснялась, промолчала. А муж её, вытирая вышитым, полотенцем руки, разговаривал с нами, спрашивал, сколько мы накопили, сколько копен поставили, — он совершенно не обращал внимания на перепалку между матерью и женой, откуда можно было сделать вывод, что он давным-давно привык к этому.

Среди двора валялась двухпудовая гиря, поросёнок понюхал гирию, почесался об неё и пошёл прочь.

— Четверо на полу ляжете, в избе, — снова повернулась к нам. Евдокия, — а один в сенях, там кровать, и матрац есть. Живите, живите! Может, молоко будете брать, яйца — все у меня берите, в люди не надо ходить. У меня каждое лето косари квартируют из, вашего Горема*, я всё ваше начальство знаю — и Никиту Петровича, и Буркацкого, инженера по труду, и коменданта Максима. Я же сено ваше караулю здесь, пока не вывезут, а когда его вывезут? В январе, когда лед на Оби окрепнет. Ох, уж с этим сеном, покоя нет, ноченька темная — не спится! Только закрою глаза, а мне мерещится: подъехали к стогам, накладывают! Одеваюсь, как встрепанная, бегу в поле, хоть какой мороз или там буря-шурга — бегу, задыхаюсь... Прибегаю — нет никого! Ну, слава те, господи, отлегло от сердца! Иду домой, да один раз сбилась с дороги, чуть не замерзла!..

А сноха стояла поодаль, слушала и саркастически улыбалась и покачивала головой, как бы пораженная чем-то до немоты.

Сторожит сено! Должность эта, как мы узнали потом, чистейшая синекура: нечего тут караулить сено, никто

* *Горем* — головной ремонтный поезд.

не украдёт! Из-за Оби не приедут, а в деревне Луговой оно никому не нужно, своего «навалом», а если б кто и решился, то сразу все узнают: каждый шаг местного жителя у всех на виду.

— Дуняха-то никогда и не ходит сено смотреть! — ябедничал нам потом тот старичок-рыболов. — Она сестра мне, Дуняха-то. Она не смотрит за сеном, беззаботная, только зря деньги платят ей! Сначала-то я сторожил, ну, я не такой, я смотрел, даже по ночам ходил, в мороз, один раз шурга разыгралась, я с дороги обился, чуть не замерз! Вы скажите там начальнику, чтобы опять меня сторожем поставили.

Синекура давала Евдокии возможность не работать в колхозе, но считаться колхозницей. Ведь она же работает в государственной организации, в Гореме, а Горем делает большое дело — электрифицирует Великий Сибирский путь, подстанции строит, а без лошадок на строительстве не обойтись, а лошадкам нужно сено — вот оно как всё связано!

Пока мы были на покосе, Евдокия, с большой корзиной на руке, каждый день приходила к нам, брала на заметку новый стог и шла в кусты за смородиной. Племянник Евдокии — бакенщик на Оби, у него моторная лодка, и вот Евдокия да жена бакенщика ставят в лодку корзины с ягодами и плывут вниз по Оби до ближайшей пристани и там ждут парохода — пассажиры быстро расхватывают ягоды.

VI

Итак, четверо легли в избе, на полу, а я в сенях, на кровати. Хорошо без комаров! Я даже был доволен, что один комар залетел в сени и ныл мне в ухо, плакал, жаловался, что нехорошо мы сделали, ушли из шалаша, что стаи его собратьев влетают в шалаш, никого не находят там и вылетают очень обиженные.

Дверь в избу закрыта, там глухо разговаривают, не мешая думать под напевы комара, а в открытой двери сеней,

как в раме картина: кусок огорода с подсолнечниками и капустой, дальше — темные зубцы елей, за ними и над ними — алое небо на закате, осыпанное легкими розовыми облачками.

По улице прошли девчата с песней, и мужской голос, бас, подпевал им очень старательно, даже сердито.

Приехала кинопередвижка, картину показывали в амбаре, (свободном от зерна в эту пору года, перед уборочной, аппарат же, за неимением кинобудки, находился вне амбара, на улице, и характерный треск его, напоминающий стрекотание кузнечика, слышался долго, часов до двенадцати. Потом аппарат затих и слышно было, как расходилась по домам публика с песнями и разговорами.

Нет, как хотите, а жить в такой глуши... Уж какой наш городок, районный, деревянный, одноэтажный, но в нём всё же сто улиц, кино каждый день! Войдёшь в книжный магазин — доступ к книгам свободный, вот и рассматриваешь обложки, корешки, читаешь заглавия. Это что? Ага, «Белая роща». И тут вспомнишь, что читал в газете про эту книгу, очень хвалили, надо взять, значит... Или просто на станцию сходишь, тоже развлечение: остановится поезд дальнего следования, осыплет перрон пассажирами, живущими в больших городах, — почему-то думается, что все они непременно живут в больших городах! — тут, смотришь, моряк о буквами «ТФ» на бескозырке и лентах и на тебя вдруг пахнет Тихим океаном, и в одну секунду пронесётся в голове всё, что связано с ним. А вот человек привлёк внимание удивительно симпатичным, умным лицом; и думается почему-то, что это или ученый, или писатель, или знаменитый художник. Тем уже интересны эти люди, что они едут из одной дали в другую даль, и воображение ваше невольно уносится вслед за ними.

А здесь в этой Луговой... ну, кто тут был? Пахнет тиной, болотом. Улица — выемкой, корытом, и вся вытоптана скотом, осыпана навозом, как хлев. Пастух пригоняет вечером овец, — овец, личного пользования, животноводческих

ферм здесь нет, они в Малинном, — овцы по своим дворам не расходятся, а ночуют все лето на улице. Если хозяину, потребуется овечка, резать или отвезти на базар, вечером он ходит среди лежащих на улице и жующих жвачку овец, присматривается, ищет своих. Нашёл, схватил, поволок, как волк.

Объ во время разлива затопляет весь островок, по улице на лодках плавают, а один раз чуть не погибли все, вертолет прилетел из областного города и перетаскал жителей в Малинное, село большое и сравнительно культурное, там правление колхоза, там партийная организация, комсомольская, там, как уже сказано, животноводческие фермы, там есть знатные доярки и свиарки, портреты которых можно увидеть на Доске почёта в районном городе. Переселиться бы из Луговой туда, в Малинное, им и предлагали это не раз, и даже расходы, связанные с переселением, государство брало на себя... Уперлись, не хотят! Молодежь хочет, так и рвётся в Малинное, а пожилые — нет! Стоп! Привыкли! Здесь родились, выросли, а главное — от начальства дальше, воли больше!

А воли им тут, действительно, больше. И самогон иные гонят потихоньку, и дичь всякую лесную и болотную постреливают в запретное время. А кроме того:

— Тут у нас и трава, и рыба, и лес — все под рукой. Грибы, ягоды... ешь не хочу!

Это верно.

VII

Евдокии не спалось. Она быстро ходила по избе, брякала кастрюльками, мыла кринки и всё на кого-то ворчала глухо, невнятно, только «паралич тебя расшиби» произносила явственно, но это могло относиться и к предметам неодушевлённым, некстати попадавшим под руку. Потом вышла в сенки, шлепая по доскам пола босыми ногами и, сложив на груди руки и привалившись плечом к косяку, стала глядеть на угасающую за далеким чёрным ле-

сом зарю. Но, пожалуй, зари она не видела, хоть и глядела на неё. Я не спал, курил, и Евдокия начала жаловаться мне на сноху, на сына. Оказывается, он женился второй раз, с первой прожил год — разошлись.

— А она в суд подала, хотела из хозяйства долю получить — вот ей доля! — тут Евдокия показала мне кулак, вытянув руку во всю длину. — Она сорвала бы долю, паралич её расшиби, если б дом и скотина были записаны на Дмитрия, а в том и заковыка, что нажитое — моё! Моё! Моё! И по бумагам всё за мной числится! А с Дмитрия взятки гладки, у него всё имущество — ружьё, и делите это ружьё, как хотите, хоть пополам его перешибите! Вот теперь эту подыскал, из Воронова привёз, и эта поживёт, сбежит да, паралич её расшиби, в суд подаст: имущество делить! Вот теперь она Дмитрию и зудит в уши день и ночь, чтобы всё хозяйство на него переписать и дом! А я им — вот! — опять выбросила она кулак в мою сторону.

Я вспомнил, как вечером семилетняя внучка говорила ей:

— Баба, в кино пойдём? Баба Ольгея пошла!

— У бабы Ольгеи — радость! — ответила Евдокия внучке. — Баба Ольгея живёт, как кукла, а у меня дома каждый день своё кино!

— Вот оно, что творится! — вздохнула она теперь и замолчала.

Я спросил:

— Вы в колхозе-то работаете?

Она сразу как-то смутилась, растерялась, вопрос был явно неприятен ей.

— Ох, ох, господи, спать надо! — вздохнула и одновременно зевнула, перекрестила рот и помолилась на зарю, шепча то ли молитву, то ли «паралич тебя расшиби».

И опять:

— Вот поэтому-то, не знаю, как вас звать, и живём без крыши! Как дождь, так у нас потоп, в избе уткам плавать. Сынок говорит: перепиши дом на меня, тогда покрою! Нет,

говорю, родимый мой, этого не жди, ты и так обязан покрыть: живёшь здесь!

Но постепенно под действием ночного безмолвия она настроилась на другой лад, лирический, и стала рассказывать о своей нелёгкой жизни. Как мучилась она в войну, как тяжело было махать косой от зари до зари, когда и картошки-то не было, не только хлеба!

— Натолчем в котелочке ягод с простоквашей — и весь обед, и опять бери косу, а не то — вилы!

Растила троих детей, девочек, ждала конца войны, ждала мужа. Слава богу, дождалась, пришёл, хотя и без ноги, на костылях, а пришёл. Да недолги были радости!.. Тут голос её дрогнул, переломился и совсем пропал.

— И что же случилось? Где он теперь?

— Сейчас дойдём... Председателем колхоза выбрали его, тогда колхоз у нас был самостоятельно, до укрупнения... Я в поле, а он здесь, в конторе, а в одном помещении с конторой, за стенкой, детясли, а в детяслях работала Шурочка такая, молоденькая, завиты волосы. Он и снюхался с ней. И сошлись.

— И теперь с ней?

— С ней, да... так ему и надо! Не жизнь у них, а... Она гонит его, какой, говорит, ты мне муж, мне тридцать, а тебе пятьдесят, ты мне не муж, говорит, а отец! Она с молодыми погуливает, а он по ночам ищет её, и поспать некогда бедному, замучался!

— А вы с ним встречаетесь, разговариваете?

— Встречаемся, разговариваем. Он кладовщиком сейчас, мясишко выдаёт, там всякую мелочь. Приходит он ко мне и вот эту избу ставить помогал, и дочкам, пока росли, гостинцы приносил, и на платъице купит, а когда их замуж выдавали — на всех трёх свадьбах гулял. Недавно пришёл, сел, молчал, молчал и говорит: давай сойдёмся! Нет, говорю, Коля, нет, Николай, мёртвого назад не носят, надо было раньше думать, пока дети маленькие были!

Помолчала.

— Вот вы спрашиваете, не знаю, как вас звать-то, работаю ли в колхозе. Я работала в колхозе, очень даже отлично работала, когда здесь молочная ферма была, и премии получала за высокие надои, и любила я эту работу, дело прошлое, хвалиться я не люблю. Какой-то интерес был, и не только что касается заработка, а вообще. Вообще! — повторила она с некоторым пафосом, придавая, очевидно, слову «вообще» какое-то другое значение. — Вот, бывало, вечером — заседание правления. Все соберутся, тут и председатель, и бригадиры, и нас, доярок, обязательно пригласят, с нами совет ведут, как лучше работу налаживать и... Был интерес! С кормами мы никогда не бедствовали, другие бедствовали, а мы никакого горюшка не знали, травы тут, вы сами видите, море, все районные организации косят здесь каждый год — и райпотребсоюз, и сельпо, всем хватает; и под снег нескошенной травы остается видимо-невидимо. Ну, правда, трава у нас пресная, невкусная, её подсаливать надо... А как перевели после укрупнения все фермы туда, в Малинное, остались мы тут ни два, ни полтора, от мира отрезаны Обью, ни правления здесь у нас, ни заседаний, ни собрания — как вымерло всё! А если мне там, в Малинном, дояркой поступить, а жить тут, — опять ничего не выходит. И махнула я на всё рукой. Вот свою скотинёшку держу да сено-то ваше караулю, прирабатываю — так и живу.

Наконец, ушла в избу. Что ж? Ей хочется рассказать всё, что накипело на сердце, а своим деревенским кому расскажешь? И так все знают. Вот она опять вышла... нет, не она, это сноха, Феня.

Феня села на верхней ступеньке крыльца, глубоко вздыхает и шепчет что-то. Плачет? В поле комары не давали спать, а тут... разве уснёшь, если рядом кто-то всхлипывает?

— Нужен мне её дом! — зашептала она, явно адресуясь ко мне и как бы продолжая прерванный разговор. — Я в уме-то ничего такого не держу, а ей всё чудится! Она

и первую сноху заела, выжила; с поленом налетала на нее, и меня выживает.

— Какая картина-то была? — спросил я; чтобы переменить этот противный разговор да и её мысли переключить на другое. Она с Димкой ходила в кино.

— «Солдаты!» — вздохнула она.

— Хорошая картина?

— Картина хорошая, да звук плохой. Не мила мне тут никакая картина, у нас дома каждый вечер бесплатный концерт. Люди идут с работы домой — радуются, а я — как в ад иду!

Я вышел на улицу и сел на бревнах, сложенных под окошком этой избы, которая, слегка осев на один угол, как бы подбоченясь, словно гордилась, что из-за неё в её стенах каждый вечер — «бесплатный концерт». Ветра не было, ночь притаила дыхание, темный и теплый воздух спал, но в огороде, в подсолнечниках, слышались непонятные, сдержанные шорохи — что там? Мышь пробежала и потревожила сонную траву? Или две капли росы слились в одну, скатились с листа и шлепнулись на нижний лист? В сарайчике пропел петух, сначала хлопнув крыльями, как водится, а вслед за ним проголосил молодой петушок, коротко, хрипло, и на ку-ка-реку несколько не похоже, но, видимо, остался доволен и этим. Ещё бы! Три месяца назад он был не петушок, а яичко, а теперь... во, какие достижения!

Напротив нашей злополучной избы, через дорогу, наискосок, сидела у забора парочка, слившись в темное пятно, слышался громкий шепот, изредка прерываемый хихиканьем.

Но вдруг влюбленные вскочили, метнулись в разные стороны, как тени, а о бревно, на котором они так приятно коротали ночь, с большим опозданием ударилась звонкая, сухая палка. Залаяли собаки, и от бревна заковывлял в конец деревни человек на костылях, ворча вполголоса.

«Вот оно что!» — подумал я. Мне вспомнился рассказ Евдокии.

Вскоре после этого, ночью, когда мы уже легли спать, собрался дождь. От первого удара грома изба вздрогнула, крякнула одним углом, на крышу сенок посыпались, словно орехи, крупные и, казалось, твердые капли, потом все затихло на несколько секунд, и обрушился густой, тяжелый ливень, с напором, как бы под давлением в десять атмосфер.

— Ну, — сказал Сергей, — промочит наше сено! Старым кошнам ничего не делается, они осадку дали, а молодые копны до середины прошьет! Придется растаскивать копны, сушить. Это ворона накаркала дождя, паразитка!

Да, ворона в этот день каркала до хрипоты, Сергей бросал в неё комками земли, палками, она перелетела на другую берёзу и закаркала ещё громче, как бы в отместку.

— Вам смех, а я точно знаю на опыте: как ворона закаркала или бурундук чуфыкает — обязательно дождь будет!..

Молнии вспыхивали одна за другой, на горизонте беспрерывно появлялась чёрная зубчатая полоса леса, исчезала на мгновение и выскакивала вновь; улица, эта корытообразная навозная улица, превратилась в реку, поплыла, овцы, наверное, разбежались по дворам. И вот с потолка потекло. Мы вскочили и свернули постели. Пол, как на грех, плотный, и слой воды на нём на вершок. Евдокия сидела в углу, накрывшись плащом, и была рада, что молодых мочит, а молодые сидели на кровати, накрывшись плащом, и были рады, что её мочит, — словом, все были довольны, если не принимать в расчет квартирантов.

«Врёшь! — думала, очевидно, Евдокия. — Помучаешься — сделаешь крышу!»

«Врёшь! — думал, надо полагать, сын. — Помучаешься — перепишешь дом на меня, а тогда и крыша будет!»

VIII

Отправлялись мы с островка, сделав свое дело, уже в сентябре, когда на жесткую, загубевшую, металлически звенящую на ветру осоку оседала осенняя ржавчина, и ли-

стья на осинах стали красными, как яблоки, и замолчали птички в траве и кустах. Прощайте, кусты, оплетенные повиликой, деревня Луговая, протоки, которых мы до этого ни разу не видели и, вероятно, никогда уж больше не увидим. Что тут будет зимой, когда все завалит снегом?

Мы постояли на берегу Оби. Маленький буксирный пароход мучительно медленно тянул против течения огромную баржу, нагруженную берёзовыми дровами, и волны шлёпались о берег как-то холодно, по-осеннему, словно вода стала гуще, тяжелей.

Однако, через три года нам пришлось опять приехать сюда на покос. Деревни Луговой мы уже не нашли. Время смахнуло её с островка, смахнуло и распахало это унавоженное место, распахало и засеяло пшеницей. Одно удивило нас: там, где была изба и двор Евдокии, земля почему-то осталась нераспаханной, или распахали её, да не засеяли, и она заросла крапивой, чертополохом, лебедой и польнью.

Старичка-рыболова мы увидели там же, на болоте, на той самой долбленной лодочке. Он выбирал сеть из ленивой воды и вытряхивал из сети ленивых карасей, настолько равнодушных ко всему на свете, что, кажется, им всё равно: плавать в болоте, лежать в мешке или на сковородке — они не делают решительно никаких попыток, чтобы вернуться в родную стихию. Шуки все до одной удрали бы от неprovорного старика с его трясущимися руками, причём левая, если вы не забыли, совсем никуда не годится. Я взял одного карася, пустил около берега и гляжу, что из этого получится. А ничего не получилось. Висит в воде на одном месте и хвостом шевельнуть не хочет, вроде обиделся: за что, мол, забраковали меня, выбросили, чем я плох, посмотрите-ка хорошенько!..

— Что, дед, всё же переселились в Малинное?

— Переселились! — махнул он рукой с неудовольствием.

— Ну как, там лучше?

Он подумал, или сделал вид, что подумал.

— Все равно. Молодёжь шум подняла, а нам, старикам...

— А Евдокия... жива?

— Дуняха-то? — удивился он. — А что ей делается? Дуняху теперь, брат, рукой не достанешь! Две премии получила! Она опять в доярки пошла. Она женщина старательная, на работу жадная, верткая, работа так и горит в руках у неё! Она же сестра мне, Дуняха-то!

— А Дмитрий с Феней? У неё живут, у матери?

— Нет, они свою избу поставили. Митрий трактористом теперь, а Фенька свиней откармливает, свинарка, дюже хвалят её, на совещание по животноводству в область посылали.

— А муж Евдокии... как его звать-то? Где?

— Там же, в Малинном, кладовщиком.

— Он все с ней живет, с Шурочкой?

— Николай-то? Нет. Она бросила его. Уехала куда-то.

— А почему это место, где жила Евдокия, не засеяно, травой заросло?

— А это Митрий нарочно так и сделал. Он там пахал и сеял и объехал это место. Тогда у них ералаш вышел. Авдотья-то с Фенькой, задержиха с неспустихой, схватились драться, а Димка-то пьяный был, взял ружьишко да и пальнул вверх, чтобы, значит, видишь ли ты, разогнать их, пугнуть. А Дуняха-то и закричи на всю деревню: караул!.. Народ сбежался! А тут, одно к одному, как на грех, участковый Леденцов приехал к нам по какому-то делу. И он прибежал. Авдотья-то и заяви, что сын в неё стрелял, да промахнулся, убить хотел, чтобы домом и скотиной воспользоваться по наследству! По допросам таскали Димку-то. Вот он и... пускай, говорит, польнью зарастет это место, будь, говорит, оно проклято!



ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА

I

Базар в осоках, Базар в Осоках, районном городке на берегу Оби, достоин кисти живописца, — если можно, позаимствуем у писателей былых времен, такое начало для нашего рассказа. А если нельзя, то начнем просто.

Воскресенье. Из всех населенных пунктов района, из больших и малых, из ближних и самых отдаленных, таежных, богатых смородиной и черникой, грибами и кедровыми шишками, — по всем дорогам, ведущим в Осоки, едут поросята в клетках, поставленных на телеги или автомашины; и гусь высовывает из клетки шею, глядит на плывущие мимо пейзажи и делает порой какие-то замечания, скорее всего критического характера, если судить по голосу; свинья, привязанная толстыми веревками, растянулась во всю телегу и то стонет и охает, то опять начинает орать, как бы оплакивая родную грязь, с которой ее, видно по всему, различают навеки. Едут караси в кадучке с водой, еще живые, утки едут вместе с красавцем селезнем.

С присущей ей осторожностью и важностью едет гончарная посуда, подстелив под себя сено или солому. Расписанные узорами звонкие горшки, обжигаемые не богами, но мастерами, мы видели на Сорочинской ярмарке, на ярмарке в Голтве, в Стране Муравии — послужили горшки роду человеческому и думают еще послужить.

Особенно живописен базар летом, когда многоцветную и многозвучную площадь заливают с синей высоты солнце. Издали площадь — сплошное пятно, сгусток разноцветных

красок. Тысячи голосов срослись в сплошной мягкой гул, раздираемый отчаянным визгом розовых (строптивных) поросят, уносимых новыми хозяевами.

Продается гармонь. Один за другим гармонисты пробуют ее, показывая всему честному народу свое мастерство; этот довольно сносно наигрывает «Подмосковные вечера», тот — «Называют меня некрасивою» или «Огней так много золотых «а улицах Саратова».

Некий ваятель в клетчатой фуражке, с толстым носом и тонкими усиками, за неделю налепил из глины двадцать Хозяек Медной горы, высушил их, выкрасил, — сарафан голубой, рукава розовые, расписал кокошники, как положено, поставил их на столе в две шеренги и ждет покупателей.

II

Савелий Чугунков, его супруга Матрена и дочка Груня выехали со двора до рассвета. Савелий, костлявый и длинный, в соломенной шляпе, с растрепанными краями, сидел на передке телеги, свесив ноги между оглоблями и глядя на лошадиный хвост. В правой руке он держал вожжи, в левой — легкий веревочный кнут, годный только на то, чтобы мух спугивать с лошади.

Матрена, в новеньком желтом платке с цветочками, в синей кофте, тоже с цветочками, в зеленой юбке без цветочков, но с нашитой на подол розовой полосой шириною с ладонь, сидела с правой стороны телеги, свесив ноги, и, повернув голову, с любовью и тревогой посматривала на корзины, наполненные черной смородиной и укрытые холстиной от пыли, от солнца, от мух, падких на сладкое, и от завидующих глаз. Завидующие глаза увидят, а длинные языки раззвонят на весь колхоз, и попадут Чугунковы в стенгазету: вот они чем занимаются, вот почему их на покос калачом не заманишь! Хотя Матрена женщина храбрая и не боится стенной газеты, но все же неприятно. Иногда она приподнимала уголок холстины. Удовольствие от созерцания смородины разливалось по лицу Матрены, как

масло по горячей сковородке. А худощавое лицо Савелия становилось еще суровой. Взглянув на смородину, он крепко дергал себя за ус и кричал. Он был человек серьезный, все время составлял в уме какие-то планы, производил вычисления, складывал и умножал, делил и вычитал, говорил только тогда, когда не говорить никак уже невозможно. Матрена же напротив, говорила без умолку, причем слова ее слушателям ничего не давали, но и от слушателей ничего не требовали.

— Цветок-то какой! — восторгалась она, глядя вокруг с высоты телеги. — Трава-то какая! Роса-то какая! Горох-то какой!..

Вот и весь ее разговор.

Но в гневе она преображалась. Досталось от нее рай-исполкому, когда ехали по бревенчатому мостику, перекинутому через грязную низинку, в которой стояла вода, заросшая кувшинками и осокой. Каждое бревнышко подбрасывало телегу, толкало и вправо и влево, и седоки тряслись, как отруби в решетке. Матрена чуть не откусила кончик своего говорливого языка, а Савелия на одном толчке совсем сбросило с телеги, и он не шлепнулся в воду и не нарвал кувшинок только потому, что успел ухватиться за столбик — черный покосившийся столбик с заостренной вершинкой, обрызганной, словно известкой, куличинным пометом. Кулики стояли на кочках и на черных кольях, выступивших из воды, и хвалили свое уютное болотце, кувшинки и осоку.

Лошадь из колхоза дали не Савелию с Матреной, а Груне. На этой неделе ей вырешили премию — сто литров молока.

— А куда мне его? — даже напугалась Груня, услышав такую приятную новость. — Простоквашу делать, что ли?

— Куда хочешь, туда и девай! — ответил председатель колхоза Сидор Поликарпович Маринин, о котором подробнее будет сказано впереди. — Заслужила — получай, а там... на простоквашу или на кашу-малашу — это дело

твое. Вези на рынок! Запряги коня, какой на тебя глядит, только моего Реактивного не трогай, и двигай.

Так она и сделала, взяв молоко из вечернего надоя. На телеге стояли теперь, позади корзин, две помятые фляги, обернутые свежей травой, мокрой от росы.

С продолговатым смуглым личиком, с мушкой-родинкой под левым глазом, от которой Груня с радостью избавилась бы, тогда как иные модницы налепляют их себе на лицо искусственно, да еще и деньги платят за это украшение, Груня сидела спиной к родителям и сердито говорила:

— Вот видите, как нехорошо получается! Коня дали мне, а приходится и вас брать с вашей смородиной, чтоб она перевернулась да рассыпалась вот на таком мосточке, какой сейчас проехали!

— Типун тебе на язык! — с гневом и ужасом воскликнул Савелий, ошеломленный жестокостью дочери.

На голове Груни красовался китайский платок, словно отрезанный от радуги, на руке — часики «Заря», на ногах — лакированные туфельки и капроновые чулки, которые она высоко ценила уже за одно только название: капроновые! Слово-то какое! А платье на ней было кирпичного цвета с пуговицами, похожими на вишни.

— Ничего, доченька, ничего! — успокаивала Матрена, любясь Груней.

— Да, ничего! Вам, конечно, ничего, а мне глазами хлопай перед Марининым и перед всем народом! Нет, папка, также и ты, мама, нехорошо вы делаете! Нехорошо! Весь народ на покосе, городские приехалина помощь, а вы за ягодами да за ягодами! Проторили в тайгу дорогу! Хоть бы медведь пугнул вас оттуда!

— Да замолчишь ты или нет, пила поперечная! — кричал отец. Терпение его лопнуло. — Я все молчал, я все ждал, вот, думаю, скоро закончит, вот сейчас начнет закругляться... нет! Она и не думает закругляться! Или Санька плохо поцеловал тебя вчера, что ты... и зудит, и зудит всю дорогу, как та муха-щекотуха! Слушать надоело! Ты доишь

коров и дои на здоровье, борись за изобилие продукции. Мы тебе не пресекаем, а ты нам не пресекай! Не ходите, главное дело, за ягодой! Да ведь это же, было бы вам с Санькой известно, не ягоды висят на кустах в данный момент, а средства! Прямые рубли! Зимой не снимешь рубль с куста, поняла ты это, ученая, со средним образованием, или опять не дошло до тебя?

И Савелий пустился в довольно пространное и замысловатое рассуждение о жизни вообще, с отступлениями в далекое прошлое, когда он — и не дай бог такого никому — гнул спину за три рубля в месяц и с тех пор преклонился перед всемогуществом денег, а Груня, забегал он вперед, будет жить при коммунизме, когда деньги совсем исчезнут. Им, молодым, смешно смотреть, как трясутся у Савелия руки, когда он получает крупную сумму, а ему не смешно, ему совестно, да ничего не может поделать со своими проклятыми руками, они выходят из подчинения; трое, четверо тычут пальцами в ведомость, показывают Савелию, где нужно расписаться, и все же он распишется обязательно на чужой строчке, да и черкнет такую загогулину, что она ни на какую букву не похожа...

Впрочем, зря он старался, философствовал. Груня не слушала.

III

Груня загляделась на поля.

Кукуруза хорошая, дружная, ровная, по вот беда: низковата! По колено, разве чуть-чуть повыше! Если б она вымахала в рост человека! Сколько этой самой зеленой массы наворочали бы на зиму, засилосовали! Горы! А когда зимой, в сильный мороз, привозят в коровник кукурузный силос, как он вкусно пахнет! Мочеными яблоками!

Цветущая гречиха пролилась вдоль дороги молочной рекой, и видны красные ножки гречихи, и розовые крапинки по белому цвету, и шмели, вылетающие из этой ароматной пены.

А между гречихой и дорогой, на нераспаханной полосе, росла трава, — как проливной дождь из темной тучи брызнула она из черноземной почвы. Цветы расположились в три слоя, в три этажа: одни выше травы, другие вровень с нею, а третьи, самые скромные, выглядывали из нее. Новенький, не слинявший, ни разу нестиранный нарядный праздничный сарафан напоминала эта трава, — один из тех старинных, вышедших из моды сарафанов, какие мать свято хранила в большом зеленом сундуке, а иногда, в солнечный день, с благоговением развешивала, протянув веревку через весь двор.

Савелий остановил Гнедка, чтобы накосить охалки две этой сарафанной травы, но Груня взяла у отца косу.

Перепутанный мышиним горохом пырей ложится в рядок-валик, словно слабая, рыхлая кошма, наберешь охалку — полрядка тянется за тобой, не оторвешь. Ошеломленный шмель путается в охалке, выбрался и улетел, обиженно загудев, — чуть-чуть не увезли его на базар!

«Вот сюда бы коров-то!» — подумала Груня, когда сложили на телегу траву и тронулись дальше.

А по другую сторону от дороги стоял бор, и какой бор! Высокие-высокие сосны, гладкие, прямые, как толстые медные струны, натянутые между землей и небом, и сучков нет на стволах, сучки и хвоя собрались на самой верхушке и купаются в прохладной и чистой синеве. А одна сосна по каким-то причинам оторвалась от коллектива, стоит на отшибе, непричесанная, разлохмаченная, растрепанная-растрепой. Ствол кривой, перекрученный, с огромными наростами. На дрова, больше никуда не годится такое дерево. Урод! И вот что интересно: одна стоит среди зеленой поляны, пестрой от цветов, никто ей не мешает, все солнышко в ее распоряжении, все дожди к ее услугам — а нет росту ей и шабаш! Поднялась немного и пошла в сучья.

Груня достала из сумочки зеркалаще — и правильно сделала: оказывается, дорожная пыль тоже ехала на базар, усевшись на ее щеках и носу. Было бы не очень хорошо,

если б Санька увидел Груню такой напудренной. А Санька, пожалуй, уже там, на базаре, он повез две кадушечки колхозного меда, и Маринин поехал — мед продавать и еще по каким-то делам.

Сегодня Груня с Санькой будут фотографироваться, только до сих пор еще не решен вопрос, как: или оба сядут рядышком на стульях, или она будет сидеть, а он встанет рядом и положит руку ей на плечо, или, наоборот, он сядет, а она встанет рядом и положит руку ему на плечо.

— Так, так, так, Грунь! Именно этот последний вариант, — бурно одобряла вчера Томка Шишигина. — Я со своим Васенькой так снялась, ты же видела?

Но в том-то и дело, что Груне ни в чем не хотелось быть похожей на Томку, завистницу, ненавистницу и сплетницу. Подумать только: Томка распустила слух, будто бы Груня Чугункова... совестно даже говорить... умеет колдовать! Смех! А все же неприятно!

Но об этом стоило бы рассказать подробнее.

IV

Год назад, вот в такой же хороший день, пришел на выпаса заведующий молочнотоварной фермой, он же парторг колхоза, Яковенко, старичок с бородкой клинышком. Это мы так уж, за глаза, называли Яковенко старичком, а вообще-то он очень не любит, когда его так назовут. «Георгий Иванович» или «Товарищ Яковенко» — вот как он любит.

Пришел он в тот день на выпаса, собрал доярок, побеседовал с ними и поставил им в пример Груню Чугункову.

— Надои у нее самые высокие, а коровы у вас одинаковые и корма одинаковые. Почему же в надоях такая разница? — спросил он.

Томка вспыхнула, словно ее оскорбили.

— Нет, Георгий Иванович! — сказала она, покраснев. — Корма одинаковые, не отрицаю от этого, а коровы не одинаковые! От Грунькиной группы и я больше всех надою, потому что у нее самые молочные коровы, а у меня не коро-

вы, а козы, Георгий Иванович, словно на смех мне отобрали. Я кончила, Георгий Иванович!

Она, тяжело дыша, опустилась на траву и стала бить себя веточкой полыни по разгоряченному лицу, такому же красному, как и ее платок, соскользнувший с вьющихся черных волос на шею.

Яковенко посмотрел на Груню: что, мол, ты на это ответишь, Чугункова?

— Хорошо! — сказала тогда Груня и тоже раскраснелась не хуже Томки. — Хорошо, Шишигина! С завтрашнего дня я дою твою группу, а ты мою дои. Поменяемся. Вот, при всех говорю!

Томка не ожидала, что дело примет такой оборот. Сидит, срывает с полыни веточку за веточкой и мельчит, мельчит их пальцами, крошит горькую лапшу... Струсил!

Прошло три месяца, и от Томкиных «коз» Груня стала получать молока больше, чем Томка от «самых молочных».

— Переманила! — сказал Томке отец, Фома Шишигин, отрастивший такую бородину, что его прозвали Черномором. В колхозе он уже не работал по старости, ловил карасей в болоте и однажды уверял всех, что вместе с карасями попал в сети чертенок, с хвостиком и с рожками, но Фома не догадался во время положить на него крест, и чертенок вырвался и опять шлепнулся в болотце. — Переманила, дочка, молоко от твоих коров к своим! У нее и бабушка, Фиена Чугуниха, занималась этим делом, наговоры по ветру пущала! Вредная была старушонка, ужасно пакостливая!

Вот откуда пошло!

Люди слышали, как Фома-Черномор говорил дочке это и передали его слова Груне.

— Пойдем-ка, Тома, в коровник, я покажу тебе, как я колдую! — сказала однажды Груня, и повела ее, и...

Но мы не будем вмешиваться в область зоотехники, не пойдем в коровник, пусть Груня без нас расскажет, как она раздаивает коров, в какое время доит их и какой приме-

няет рацион. Скажем только, что Шишигина кое-что переняла от нее, надой стали выравниваться. Но все же Томка по каким-то причинам желает зла подружке и всегда при Саньке старается поднять Груню на смех. Как-то запела Груня песенку — ни хорошо, ни плохо, средне, а Томка:

— С таким голосом коров доишь? Я бы на твоём месте в оперный поступила!

Спрашивается: к чему это? И — при Саньке!

«Ох, Тома, не все дома!» — вздохнула Груня, вспомнив все это, а в уши ей, под тарахтенье тележных колес, бубнил голос отца:

— Ты ученая. Десять классов кончила. Землемерию проходила. Надо всеми силами пробивать кальер в институт! Зачем учиться десять лет, если у тебя такое намерение было в голове: скотину доить? Томка Шишигина умнее тебя, она не стала лишних шесть годов учиться, четыре класса кончила — и до свиданья! У коровы четыре титьки, а не десять, и кончат больше четырех классов доярке не к чему!

— Ну, ты уж совсем замололся! — сердито сказала Матрена. Плетешь, а чего плетешь — сам не знаешь.

Савелий даже обрадовался вроде, что его остановили. Он замолчал и стал ловить бабочку — большая черная бабочка привязалась к нему, кружится и кружится над головой, тычется то в правое ухо, то в левое, словно хочет сказать что-то по секрету, да не может — голосу нет.

— Я все же, папка, не могу понять, — сказала Груня, — всю войну прошел ты солдатом, до самого Берлина, а такой отсталый человек, рассуждаешь — смешно слушать!

Савелия укололи слова дочери. Он искал, что бы ответить на это замечание, но ничего не придумал и, широко размахнув кнутом, хлестнул лошадь.

— Ох, дочка! — вмешалась Матрена. — А что толку-то, что он всю войну прошел, если он не воевал, а картошку чистил на кухне да дрова колол?

— Дрова-а-а-а колол! — с обидой и злостью передразнил Савелий. — А ты была там, видела?

— Что видеть-то? И видеть нечего, ты сам рассказывал сто раз. Только один снаряд упал около тебя, да и то свой!

— А это, матушка моя, если ты хочешь знать, не играет никакой роли, и свой может убить!

— Ну, не говори! Все же не так страшно, когда свой. И опять же, если свой снаряд прилетел, там допустили какую-то ошибку, и тебя, я к примеру говорю, убило, то как считать тогда?

— Вот намолола так намолола! Чего считать?

— Ну, как считать, бестолочь: пал смертью храбрых?

— А как ты думала?

— Нет! — категорически отрезала Матрена. — Какая же тут твоя храбрость, в чем она проявилась? Написали бы мне: убит по ошибке, вот и все!

Тут Савелий опять довольно крепко огрел Гнедка кнутом.

— Вообще-то старшина держал меня при себе, — говорил он больше для Груни, Матрену не принимал в расчет, от нее одни насмешки. — Поскольку был я в годах, действительную службу не проходил, старшина и приспособил меня вроде бы своим заместителем... не заместителем, а помощником. Хлеб или там сухари получу на батарею, белье выстираю командиру...

Матрена так и залилась смехом, ударив кулаком по своим коленкам.

— Вот он как воевал!..

— Выстираю, бывало, высушу, и сам же отнесу командиру на наблюдательный пункт. Идешь один пять километров полем, по полыни, а в полыни-то, случилось, фашисты прятались, их на парашютах забрасывали к нам... Птица вылетит из травы...

— А у тебя и душа в пятки? — перебила Матрена.

— В пятки не в пятки, а все же вздрогнешь, шутки плохие, матушка моя, душа смерти боится!.. Это тебе не по ягоды ходить.

V

Колхозная машина, обгоняя подводы, сворачивала с дороги в сторону, оставляя на траве, седой от росы, зеленый след. Шофер в клетчатой рубашке-ковбойке, с маленьким цветочком, вставленным в нагрудный кармашек, был тот самый Санька, который так занимал Груню Чугункову.

— Возьмем твоего родителя, Матвея Фомича! — громко говорил Маринин, потряхиваясь на кожаном сиденье и держась рукой за железную скобу, чтобы при сильных толчках не стукаться головой о потолок кабины. — Твоего отца возьмем! Ему седьмой десяток доходит, у него два сына работают, две дочери, дом — полная чаша, только птичьего молока не хватает, — мог бы старик сидеть дома? Посылайте вы его на работу?

Санька молчал, считая, очевидно, вопросы председателя риторическими. Маринин подождал, глядя сбоку в лицо ему, и ответил сам:

— Нет! Не посылаете. Спрашивается: что же его заставляет каждый день, и зимой и летом, тюкать топориком?

Маринин жадно впился глазами в Санькино лицо, но так как ответа и на этот раз не последовало, опять пришлось отвечать самому:

— Привычка! Привычка к труду! Он не может сидеть сложа руки, характер у него мой. Мне тоже, в сущности разобратся, пора на пенсию, но разве я могу отойти в сторону от жизни, пока сила есть? Снимут с председателей, если признают негодным для руководящей работы, я к примеру говорю, — молочную ферму приму. Молочную ферму не доверят — в пастухи пойду! И не просто буду пастухом, а буду в курсе всех дел, — и как идет подготовка к уборочной, сколько комбайнов отремонтировано, сколько нет и почему, по каким причинам, — я всем стал бы интересоваться, равно как и в данный момент! Так и родитель твой. Он мичуринец, садочек у него прекрасный, но он не торчит в садочке, он телеги, грабли, вилы делает для колхоза, он имеет

гражданскую совесть. А Савелий Чугунков с его премудрой Матреной почему же? Куда у них девалась совесть, сознательность? Прополота кукуруза или не прополота, обеспечено кормами общественное поголовье или не обеспечено, выполнен план продажи государству хлеба и продуктов животноводства или не выполнен — это их нисколько не волнует, словно это происходит где-то там, на другой планете, на Венере, тогда как мы живем в такую, я сказал бы, эпоху, что нас интересует и течение жизни на других планетах. Смотри, опять какой подвиг совершили наши космонавты, это же просто фантастично и феноменально, по-русски говоря!

Маринин замолчал и закурил, наполнив кабину дымом. Он был, по-видимому, очень доволен своей речью.

— Вот ты в зятя идешь к Чугунковым, в дом, — опять заговорил он, — ты займись ими, Александр батькович! Когда свадьба-то: в следующее воскресенье?..

Председатель ехал в районный центр в белой фуражке, в вышитой белой рубахе, чисто выбритый, жесткие седоватые усы делали его физиономию весьма внушительной.

— Это вы правильно заметили, Сидор Поликарпович, чтоб заняться ими, — говорил Санька, слегка вращая баранку то вправо, то влево и строго глядя сквозь стекло на бегущую под колеса дорогу. — Я тоже думал. Даже послал про них заметку, чтоб поместили на доску «Метлой по шее» и чтоб особенно разрисовали Матрену.

— Правильно! — подхватил Маринин. — В Окно сатиры? Правильно! Это ты дельно поступил. Устроим! Я, признаться, не додумался, упустил из виду эту меру воздействия.

— Свадьба-то свадьбой, Сидор Поликарпович, да только...

— Что? — тревожно спросил председатель.

— Мне сдается, что она... как бы вам объяснить в двух словах... не с охотой идет за меня! — выпалил Санька, собравшись с духом.

— Странный вопрос, — сказал Маринин. — Очень даже странный! Не ожидал я этого! Что же ее заставляет, какая нужда?

— Не нужда, а так... Видишь... Года уходят, ей уже, как-никак, двадцать четыре, а такого жениха, которого бы полюбила всей душой, не предвидится...

Санька проглотил что-то и умолк.

— Положение серьезное, — сказал Маринин, — Семья непрочная образуется на такой базе, без взаимопонимания! Как бы, в конце концов, не получилось, как у Охапкина. Охапкин именно через такую ситуацию разложился окончательно. Ишь, что устроил вчера: пришел домой пьяный, дополнительно требует у жены денег, она, понятное дело, не дала, и что же он, сукин сын? Все праздничные платья и пальто зимнее с воротником у нее изрубил топором, материальный ущерб нанес!

— Вот именно, Сидор Поликарпович! Плюс к этому, Николай Золотарев письмо прислал ей на днях. Они же вместе учились, дружили и все такое, а теперь он в институте, на третьем курсе.

— Он в сельскохозяйственном?

— В сельскохозяйственном! — вздохнул Санька.

— Надо не упустить, залучить его к нам в колхоз агрономом... А что за письмо, какое содержание?

— Она не показывает. Так, говорит, ничего особенного, и тебя, говорит, это не касается, чужие письма, говорит, не читают!

— Это она так?

— Она.

— Что ж? С одной стороны возражать не приходится, чужие письма, если вдуматься, читать некультурно. Ну, а конверт... обыкновенный, простой, или на нем изображен цветочек какой-либо, розочка, незабудка и так далее?

— С ромашками, Сидор Поликарпович!

— С ромашками? Гм! Тогда дело хуже! Хуже, хуже! Я этого, признаться, не ожидал! Наоборот, любовался: вот,

думал, идеальная, можно сказать, пара! Он — комбайнер, шофер, тракторист, она передовая доярка... а оно вот что, оказывается!

Помолчали, обгоняя телегу с привязанной к ней коровенкой.

— Вот что, — сказал Маринин, подумав. — Я дам тебе один практический совет. Слушаешь? Сегодня же. Там. На базаре.. Слушаешь? Возьми под руку какую-нибудь барышню, из нашего колхоза или из другого, это решающей роли не играет. Возьми и пройдишься с ней, чтобы Груня видела вас. Слушаешь? И тогда она сама побежит за тобой и письмо отдаст вместе с конвертом. Я свою Лукерью только этим методом и взял. Теперь она, конечно, потеряла вид, а в молодости была, если б ты знал... Я не хочу хвалиться, не говорю, что она была какая-нибудь там... фу ты, ну ты, блондинка и прочее — нет, простая деревенская девушка, но — красавица! Дрались из-за нее! А я сначала завлек ее речами, содержательным разговором, потому что я уже тогда был политически развит, состоял в комсомольской ячейке и делал доклады на тему «Задачи комсомола в деревне»... Завлек, заинтересовал ее своим развитием, а потом вечер с ней, а вечер, для виду, с другой! Ее и заело! И начала она, брат ты мой, за мной бегать, ей-богу не вру, дело прошлое!.. примени этот метод! Даю гарантию!

Санька облегченно вздохнул, улыбнулся, и мотор зашумел веселей, и машина понеслась еще быстрее.

Санька, парень-богатырь, ростом два метра, не нравился Матрене, она каждый день говорила Савелию:

— Груня росточком правильная, а он вымахал с телеграфный столб, обрадовался, что вверху места много, растет да растет, никак не может остановиться!

VI

Обширная базарная площадь обнесена высоким и плотным забором из досок. Двое ворот: восточные и западные. Над восточными воротами вывеска, на которой слова «Кол-

хозный рынок» написаны такими огромными буквами, что их, наверное, можно прочитать с Луны.

Слава о базаре в Осоках расплеснулась далеко за пределы района, сюда приезжают за дешевыми поросятами из других районов и даже из областного центра.

Прежде всего Чугунковы заехали в молочный ряд.

— Как бы председатель не увидел нас здесь с ягодами-то! — беспокоился Савелий. — Такой шум поднимет!

Опасения Савелия оправдались. Едва успели снять фляги с молоком, как — вот он, Маринин. Нарисовался! У Савелия даже в животе похолодело.

Маринин, держа за ремешки полевую сумку, с которой он, кажется, и во сне не разлучался, с изумлением и негодованием, и как бы не веря глазам своим, глядел на Савелия, на Матрену, на лошадь и на корзины с ягодами.

— Позволь, позволь, позволь... Это как, это кто, это что? На каком основании? Чугунков! Почему не отвечаете на вопросы? Какое вы имели право, с чьего разрешения, я вас спрашиваю, запрягли колхозного коня?

Савелий и Матрена молчали, не желая подводить дочку, которую Маринин и не заметил в ряду других молочниц.

Подошел Яковенко, одетый по-праздничному, с орденом Красной Звезды на новеньком кителе, таком же белом, как и его борода, подошел Санька в только что купленной зеленой фетровой шляпе, которая, заметим к слову, очень шла к его мясистому широкому лицу, и... тут у Груни потемнело в глазах: Томка под руку с ним!

«Это еще что за новости?! Почему он с ней?!»

Томка торжествует. Она в голубом платье, на груди брошка — белый голубь, красный бант маком расцвел на смоляных волосах. Вертушка! И зачем она приехала? Просто так, на людей посмотреть, себя показать, походить по магазинам или... или с Санькой был у них уговор встретиться здесь?

— Вот видите, товарищ Яковенко, что получается! — кричал между тем Маринин, указывая и рукой, и сумкой

на корзины с ягодами. — Не хотите ли полюбоваться на подобную комбинацию? Перед нами... Ну, ну, какой факт перед нами?..

— Сидор Поликарпович?! — с возмущением и обидой прервала его Груня. — Что вы кричите, поднимаете шум, нехорошо даже, люди слушают! Вы же сами сказали мне вчера насчет лошади!

Только теперь Маринин увидел Груню и вспомнил, как было дело. Но его негодование было так велико, что остановиться он уже не мог. Да, он распорядился дать колхозного коня Груне, передовой доярке, но не...

— Хватит, хватит! — тронул его за плечо Яковенко. — Пойдем, походим, посмотрим, кто еще из наших «коммерсантов» приехал и на чем?

Долго ходить им не пришлось. Степанида Ромашкина, веселая вдова, привезла четыре мешка огурцов. На работу она выходила раз в год по обещанию и, чувствуя себя виноватой, кокетничала с руководителями, строила глазки, твердо веря, что такой красавице и говорунье многое можно простить.

— А коня кто разрешил? — спросил Маринин. — Галкин?

— Господи, Сидор, да неужто самовольно запрягла? Конечно, Галкин!

— Вот видишь, бригадир тебе навстречу пошел, а ты, окаянная, поди и пол-литра не поставила ему?

— Я не поставила? Нет уж. Сидор, насчет этого я не скупая!

Маринин и Яковенко посмотрели друг на друга, и вдова прикусила язык. Ловко подъехал председатель!..

Груня чуть не плакала. Сколько неприятностей через это молоко, чтоб ему свернуться! А Маринин какой интересный человек! Сам же сказал вчера: запряги коня, какой на тебя глядит, только моего Реактивного не трогай, а теперь...

«Почему не продала в молокозакуп?» Не догадалась она про молокозакуп, а хлопот меньше бы. Базар, базар все

вытеснил из головы, собирались фотографироваться! А теперь пусть Санька фотографируется с Томкой! Пусть! Васенька Конопатый бросил ее, сплетницу, а Санюшка долговязый подобрал. Почему они, спрашивается, не подошли к ней, к Груне, если просто так ходят по базару вместе? Да и что это «за просто так»? О, там она наговорит ему семь верст до небес и все лесом, а он и слушает, уши развесил! Ну, а если он такой несамостоятельный, сума переметная, если у него глаза разбегаются, то Груня и не жалеет ни сколько! Ничуть даже! Санька ей нужен не больше, чем слепому зеркало или лысому гребешок. Шляпу купил! Подумаешь, какая важность! Шляпу может каждый купить, это решительно ничего не доказывает.

Груня вздохнула. И опять стала думать о Саньке и Томке, машинально отвечая на вопросы покупательниц, наливая молоко в бидончики и механически складывая выручку в сумочку.

И кто он такой, Санька, если разобраться? Правильно мама говорит: дяденька, достань воробушка. Ничего хорошего в нем нет. Губы толстые. А голос... бу-бу-бу! Гудит, как в бочке, ребятишек пугать! Да, шофер — и только. Правда, еще и комбайнер. И тракторист также. И только! В художественной литературе он совсем не разбирается. Любимая его книга — это о том, как ухаживать за машиной, и книжка вся в мазуте, как шестерня. Только и глядит в нее и зимой и летом. А что он много зарабатывает да премии получает — ничего удивительного нет. Совестно было бы такому верзиле плохо работать!

Все к лучшему. Прощайте коровы, прощайте зеленые выпаса, Груня уедет учиться. Ее примут в институт с таким трудовым стажем. И характеристику колхоз выдаст ей хорошую. Георгий Иванович напишет, он знает, как она работала. Только алгебру надо повторить. Квадрат суммы двух чисел равен квадрату первого числа, плюс...

— Молоко свежее, девушка? — перебила ее покупательница.

А Санька с Томкой... два сапога пара! Ромео и Джульетта! Живите, работайте, наживайте детей, а Груня...

— Тетенька, посмотрите за моими флягами, будьте добры! — быстро проговорила Груня соседке, продававшей яйца, и побежала разыскивать Саньку.

VII

А родители между тем, остановившись в ягодном ряду, снимали с телеги тяжелые корзины.

— Ох, шайтан, словно дробь, а не смородина! — совершенно справедливо заметил Савелий, покраснев от натуги.

Затем он отъехал на пустой телеге на указанное для лошадей место, привязал Гнедка к обглоданной коновязи и дал ему травы с цветами.

Между Матреной и одной покупательницей произошел диалог, который может служить образцом логики:

— Почему ягоды, тетка?

— Тридцать копеек! — был ответ.

— Стакан?! Ты с ума сошла!

— Полазай-ка, милая, за ними по лесу, да комары кусают тебя, — пожалуй, сойдешь с ума!

— Не пугай, не сойду! Ты же вот не сошла — и я не сойду!

Видно, легкая была рука у первой покупательницы: как взяла она двенадцать стаканов смородины, так и пошли, и пошли покупатели, только успевай поворачиваться!

Любила Матрена торговать, то есть продавать что-нибудь! Она раздумянилась, расцвела, помолодела лет на пятнадцать, никак не меньше. Глаза ее блестели, руки сновали, хватая рубли, а голос... как изменился голос! Пение сладкое, а не разговор!

Удачи следовали одна за другой. Высокая жилистая женщина с двумя базарными сумками, переполненными провизией, страшно торопясь куда-то, купила десять стаканов смородины, заплатила, что следует, подхватила сумки

и — ходу, исчезла в толпе, позабыв взять ягоды. Ни Савелий, ни Матрена не успели даже окликнуть ее.

— Рассеянная, улица Бассейная! — легонько посмеялась Матрена. — Ну, может, хватится, вспомнит, придет, отдадим.

— Конечно, отдадим! — сказал Савелий. — Этого нельзя, чтоб не отдать! Отдадим!

Он подумал, пошмыгал носом, поправил усы сгибом большого пальца и тряхнул головой так, что шляпа надвинулась ему на глаза:

— Отдадим!

Вслед за этой удачей явилась и другая. Уж когда повезет так повезет, и петух яичко снесет. Насколько Савелий с Матреной любили брать деньги, настолько же они не любили отдавать их, а тут подошел сборщик базарных с кожаной сумкой на груди и с кожаным пятком на левом глазу и потребовал двугривенный за место. Савелий напугался. Двугривенный! Ведь это в старых ценах два рубля. Отдать два рубля ни за что, ни про что, за какой-то зеленый талончик, который потом здесь же и бросишь в пыль!

— Не продали ни стакана! — гаркнул Савелий и сорвал с головы соломенную шляпу в знак того, что он говорит святую правду. И покупателей, на счастье, не оказалось ни одного в этот момент. Уж когда повезет так повезет, ты в город — и ветер в город, ты из города — и ветер из города!

Поверил или не поверил сборщик — кто его знает, но отошел. Ловко получилось! Надо уметь жить на свете! Голову надо иметь на плечах! Голову!

— Ты... вот что! — решил он воспользоваться моментом, видя, что Матрена высоко оценила его находчивость. — Ты орудуй здесь, торгуй, а я в хозмаг за дегтем сбегаю. Рубля три дай мне, больше не надо, много набирать я не буду, куда его много-то?

Но обмануть сборщика базарных — это одно, а обмануть свою Матрену — это совсем другое дело. Окрыленный успехом, он слишком переоценил свои способности.

— Сколько, сколько? — спросила Матрена, как бы не совсем доверяя ушам своим. — На деготь тридцать рублей?!

— Не тридцать, а три! — сердито поправил Савелий. — Привычка дурная у тебя: если дать, ты считаешь по-старому, а если взять, то по-новому!

— Ну, ладно, ладно, пускай три. Только маловато что-то ты просишь на деготь-то, бери уж полсотни, пятерку то есть. Он в какой посуде продается, деготь-то?

Савелий почему-то смутился и ничего не сумел ответить на этот ядовитый вопрос. Язык омертвел.

— Знаю я, за каким дегтем ты торопишься! — насквозь пронзила его взглядом Матрена и погрозила пальцем, после чего отвернулась, считая разговор о дегте законченным.

— Смородинки, смородинки черной, гражданочки, берите по баночке! Смородина из тайги, крупная, как вишня, сочная, спелая, по запаху слышно! Сама бы ела — деньги надо!

Савелий упал духом. Итак, первая половина плана, который он составлял всю дорогу, провалилась с треском! Вся надежда на другую половину.

— Ты... покупать хотела... Туфли, что ль?

— Ну, туфли! Положим — туфли! Дальше что?

— Да ничего, я так только. Иди, говорю, покупай сама, какие тебе нужно, какой размер, я не знаю, не разбираюсь в этих вопросах... Покупай, пока их не разобрали, лови момент... А я поторгую здесь.

— А вот! — поднесла ему Матрена кулак прямо к носу. — Это видал? Савелий не только видал, но и невольно понюхал кулак супруги. От кулака крепко пахло черной смородиной.

— Он поторгует! Видали вы его? Нет, хитрый-то, хитрый-то какой, а?! Только, милый мой, меня не проведешь, ты хитрый, а я хитрее! Вот распродадимся, пойдем вместе, и я сама куплю и деготь и все! Сама!! — с упоением нажимала она на это страшное Для Савелия слово. — Сама!!

Савелий сел. Как подрубленный, опустился он на пустую корзину, перевернутую кверху дном. Все! Весь план рухнул! Зарезала! Савелию немедленно, сию минуту нужен деготь, дело не терпит никакого отлагательства, потому что сапоги высохли, потрескались, а на носках кожа ободралась до красноты. Намазать надо! А Матрена этого не понимает, ей хоть кол на голове теши! Зачем же он, спрашивается, ехал на базар? Зачем целую неделю лазил по тайге, снимая с кустов прямые рубли, кормил комаров и мошек? Зачем, люди добрые?!

— Совесть-то у тебя есть?— спросил он прямо. На этот вопрос Матрена не ответила совсем.

— Ты видишь... сапоги-то? Смотри, смотри! Мазать их надо, или как, по-твоему, совсем не ухаживать за обувью?

Матрена промолчала.

— Не дашь?

— Нет!

— Окончательно?

— Отвяжись! Окончательно отвяжись!

— В таком случае давай ягоды разделим... продукцию! А как ты думала, милая моя? Этим шутить нельзя! Ты слушай, слушай, чего я говорю! Я ставлю вопрос ребром! Ты не молчи, ты отвечай. Свои предложения вноси, если не согласна, а в молчанку играть не позволю! А не хочешь по-хорошему — я по-плохому сделаю: сотрудника позову. Вон, видишь, ходит, сотрудник-то, в полной форме! Он живо разберется, по статье закона, со всей строгостью! Позвать?

Ничего не боится Матрена. И слушать не хочет. Вот сатана! Он уже с ненавистью глядел на ее жадные руки, выкрашенные ягодным соком, и желал, от всей души желал, чтобы кто-нибудь в больших грязных сапогах споткнулся и опрокинул корзину с ягодами, упал бы при этом да руками-то в другую корзину, перемесил бы все и убежал. Или нашлись бы такие удалцы — выгнали у Матрены сумочку с деньгами!

«А шутя можно выгащить! — думал Савелий. — Я-то не сумею, услышит, сатана, за руку схватит, а у кого навык есть в этих делах, опыт накоплен... р-раз! — и готово! Ах, ах! Вот тебе и ах! Ищи — свищи! Ловкость рук, матушка моя, в другой раз не будешь ворон ртом ловить, вперед наука!.. Нет теперь так будем делать: ты себе рви ягоду, а я себе. По раздельности! Самое милое дело. Ты свои продавай, а я свои буду продавать. Я с тобой и рядом-то не встану, потому что ты, окаянная, всех покупателей переманишь! Что-то воришек карманных не слышно стало, неужели переловили всех? Разве самому подговорить каких-нибудь удальцов? Я сделаю, я найду! Я беда какой вредный, если мне поперек дороги встанут. Со мной лучше не связывайся. Не советую никому... Э! Стой, брат! Дочка!»

VIII

Савелий вскочил и, продираясь сквозь нарядную толпу, работая локтями и плечами, направился в молочный ряд, к дочке. Как он мог забыть про нее? Да разве она не даст ему денег? Золото, а не Груня! Только головой покачает, снисходя к его слабостям, вздохнет, улыбнется, скажет: «Ох, папка, беда с тобой, папка!», а сама уже деньги достает, раз-вертывает платочек.

Деньги у нее всегда завернуты в белый платочек с цветочками, очень хороший платочек, духами пахнет.

Савелий просиял и в мыслях назвал себя дураком за то, что чуть ли не силком гнал Груню в город, в институт или техникум. Кто бы его выручил теперь, если б она уехала? Молодец Груня! Старательная девка, вся в отца. Премию получила? Разве Савелий не получал премий, когда был скирдоправом? Он и теперь получал бы, он такой, да Матрена сбила его спанталыку.

«Завтра за ягодами! Поработали два дня на покосе — и хватит, им хоть каждый день ходи — они не откажутся! Ни Маринин, ни Георгий Иваныч, ни бригадир наш — никто не спросит, а за ягодами-то вы, Чугунковы, сходили

хоть разок или не ходили еще? Нет, они не спросят, этого не жди!»

Ее слова.

«А ягоды, — агитировала она каждый день, — ягоды растут же в лесу для чего-то, смородины сколько, черемухи, черники, брусники, неужели пропадать добру! Никогда этого не было и не будет! Ишь они какие! Значит, работай и работай в колхозе, спины не разгибай, никаких тебе ни праздников, ни выходных, и за ягодами не ходи, и за грибами не ходи!.. Пойдем!»

И Савелий шел, тянулся за Матреной, как нитка за иголкой. А таких скирдоправов, как Савелий Чутунков, не только в колхозе «Светлый путь», но, пожалуй, во всем районе днем с огнем не найдешь. Конечно, и другие стоят на скирдах или на стогах, но... всяк спляшет, да не как скоморох! Иной сложит стог, а потом наверху седло образуется, вмятина, дождевая вода скапливается, проходит внутрь стога — и пропало сено. От воды сено сгорит точно так же, как и от огня, одна зола останется. А Савелий сложит уж, брат шалишь, словно с гуся вода скатывается со стога, хоть из ведра поливай.

Все это, разумеется, в одну минуту пронеслось голове Савелия, но так ярко, что вроде бы запахло молодым сеном, сладкими травами, подсыхающими в рядочках.

Груни не было там, где ее оставили с флягами. Он побегал к телеге — на телеге пустые фляги. Новый удар! Найти Груню в этой толпе труднее, чем копенку в копне сена. Что же делать-то? Разве фляги продать? А? Это колхозные фляги, с молочнотоварной фермы. Там много их, хватит. Вынести на толкучку, отдать по дешевке! А куда девались — кто ж их знает? Утащил кто-то с телеги, на фляги позарились, вот какие мелочные люди!..

Он взял ведерко, пошел за водой, чтобы напоить Гнедка, и опять попался на глаза Маринину и Яковенко. «И чего они здесь вертятся?» — с досадой подумал Савелий. Хотел шмыгнуть за телеги и машины — не успел, председатель поманил пальцем. Пришлось подойти.

— Здравствуйте! — сказал Савелий и подал руку Марину, затем Георгию Ивановичу. Он хотя и виделся с ними, но за руку не здоровался.

— Как вы считаете, товарищ Чугунков, — начал Маринин, глядя в сторону, вдаль, на зеленую крышу двухэтажного деревянного дома, где помещались райполком и райком партии, — как вы думаете, положи руку на сердце: правильно вы делаете или неправильно?

— В понедельник я на скирде стоял. Сидор, — ответил Савелий. — Ты сам видел, и Егор Иваныч видел, не даст соврать!

— Правильно! — согласился Маринин. — В понедельник ты высоко стоял, все тебя видели, а во вторник так низко опустился, что тебя всю неделю никто не видел, кроме Матрены.

— Да комаров, — добавил Яковенко.

И полились на Савелия общеизвестные слова, которые действовали на него, однако, так, словно он слышал их впервые.

— Ну, ладно, ладно! — пожалел Савелия Георгий Иванович. — Бросайте эту легкую музыку, Савелий Инкодимыч. У вас же золотые руки! Завтра на покос, вы же человек сознательный.

Удивительно, как приятно было Савелию слышать такие слова! Человек сознательный! Как хорошо, что он не продал фляги! «Это правильно, Георгий Иваныч! — думал он, возвращаясь к лошади с ведром воды. — Человек я хороший, да не все понимают это, не идут навстречу!»

Потом толкался по базару, спрашивал, что почем, «глаза продавал», присматривался к людям, прислушивался к разговорам.

— Это сколько же стоит такая красавица? — спрашивала, указывая на Хозяйку Медной горы, пожилая колхозница в белом платочке, с пустой корзинкой на руке.

— Два с полтиной! — ответил ваятель и замер, затаив дыхание, как рыболов, когда поплавок вздрогнет и по воде пойдут круги: тише, клюет!

— Так она же из глины! — простодушно возразила колхозница.

— Мы с тобой, сестрица, тоже из глины, — сказал ваятель. — Сказано в писании: и взял господь глину, и сотворил из нее человека!

— Никак Семен Семеныч? — спросил Савелий, присмотревшись к скульптору.

— Он самый! — был ответ. — Савелий Никодимыч, если не ошибаюсь?

Обменялись рукопожатием.

Семен Семеныч уехал из колхоза лет десять назад искать легкой жизни, как говорили в деревне. У него выросли усики, были на нем клетчатая фуражка и широкий плащ, и Савелий не сразу узнал его.

— Где ж пропадал это время, Семен Семеныч? Давненько тебя не видели в наших краях.

— Не спрашивай. Весь белый свет объехал! И там был, где Макар телят не пас, и там был, куда ворон костей не заносит, и там был, где вечно пляшут и поют.

— А все же есть такие места? — пошутил Савелий.

Был слухок, что Семен Семеныч служил дьяконом в одном из районных городков Западной Сибири, но верно это или сплетня — Савелий постеснялся спросить при народе, к их разговору прислушивались.

— А домой, в колхоз, не думаешь возвращаться? — спросил Савелий.

— Коммерческим людям в колхозе делать нечего! — был ответ.

— Сам мастеришь? — кивнул Савелий на Хозяек, которые, повернувшись лицом к покупателю, а спиной к хозяйину, стояли на столе в два ряда.

— Сам. Сам. Сам!

— И ничего, берут, есть смысл?

— Смысл есть, Савелий Никодимыч!.. Заходи ко мне, посидим!

— Да посидеть-то не мешало бы! А где тебя разыскать-то?

Семен Семеныч сказал.

— Загляну, загляну! — заторопился Савелий И опять пошел толкаться по базару. Понравилась ему одна старушка, бойкая и нарядная. Неизвестно, что она продала, грибы или ягоды, или курицу с петухом, но продала, видно, выгодно и загуляла. Одна, не нуждаясь ни в какой компании, она шла по базару и распевала баском:

На нем защитна гимна-стер-ка,
Она с ума меня сведе-о-о-от!..

— Веселая бабка! — одобрительно посмеялся Савелий и, взглянув на свои сапоги, крикнул с горечью и досадой. Ботинки у старушки намазаны дегтем, почему же ей не петь, спрашивается?

На толкучке, где продают разные поношенные и подержанные вещи, Савелий остановился около цыган — интересно послушать разговор, в котором, хоть убей, не поймешь ни одного слова! Неужели они понимают друг друга? Наверное, понимают: один говорит, а остальные слушают, послушали и засмеялись — значит, понимают! В красных сапожках, в бархатной куртке, чернобородый цыган курит большую, изогнутую, очень сложную трубку с металлическими украшениями и держит на ладони золотые часы, а цыганка с золотым зубом продает хромовое пальто, и цыган, не выпуская трубку из рук, дает ей покурить, потянуть дымку.

«Вещи-то какие ценные у них, с барахлом не связываются! — отметил Савелий с почтением и завистью. — Не почистят ли они мою спекулянтку, если им шепнуть, показать?» Но не решился сделать такое предложение. Как бы не пбили, они гордые. Скажут: если цыгане, то обязательно воры? «А то нет? — мысленно возразил себе Савелий. — Кто, не цыган ли говорил: ворона плохая птица, чтоб ей околеть, купил, а она все орет: укра-а-л! Укра-а-л! Кукушка, вот золотая птица: краденое несешь лесом, а она все

кричит, умница: «Ку-пил! Ку-пил!» Поворовывали, нечего греха таить, было дело! Правда, теперь вас тоже перевоспитывают, к труду приучают!»

А цыгане разговаривали о своих делах и не подозревали, что о них думает этот человек в соломенной шляпе с растрепанными краями.

Он пошел дальше и остановил свой испытующий взгляд на одном пареньке о наколотым рисунком на запястье, и на пальцах наколото по буковке. Знает Савелии, у каких людей бывают такие наколочки, тоже не лыком шит! Знает!

— Слушай-ка... Толя! — тихонько заговорил он, прочитав имя парня на его пальцах. — Толик! Ты... подработать не желаешь... подкальмить... калым сшибить? Вот здесь, пойдем со мной, я покажу тебе, одна женщина ягоды продает... Валюта под кофтой у нее... в сумочке... в сидорочке! Ты не специалист по этой части? Куш пополам.

Толя внимательно, очень внимательно посмотрел в глаза ему и быстро пошел прочь, явно напуганный.

— Нет, нет! — гнался за ним Савелий, тоже испугавшись чего-то. — Ты не подумай, что я какой-нибудь такой, я не такой, я такой, а она, ягодница, отлынивает от кормовой базы! Я ее хорошо знаю, эту бабу...

Парень сдержал шаг, развернулся и... шлеп Савелия по левой щеке! Да крепко, дьявол, искры брызнули у Савелия из левого глаза, шляпа спрыгнула с головы на плечо, а голова звякнула, как пустой чугунок, когда по нему стукнешь ложкой. Савелий удивился. Он никак не предполагал, что голова его способна издавать такой звон.

«Завтра на покос! — твердо решил он, потирая щеку, и посадил шляпу на место. — На покос! С утра пораньше. А то... люди работают, не покладая рук, с опережением графика, закладывают прочную кормовую базу, а ты... совсем выбился из колеи, дошел до веселой жизни. А ловко бьет! Ловко, ловко! Ничего не скажешь! Будто бы и не так широко развернулся. На покос! Хватит дурака валять! Интересно, грабли мои целы там или поломали? Зря оставил,

надо бы домой взять их тогда. Маху дал! Легкие грабли, емкие грабли и, самое основное, черенок длинный. Сено принимать, на стогу стоя, ловко ими. Ловко, ловко!.. Как колокол! Голова-то! Дзынь!»

— За что он тебя ударил, отец? — спрашивали.

— А? Ударил-то? Он не ударил, он так.

— Неужели сын?

— Нет, не сын, племянник, Митькой звать, с сорок первого года.

«А все же этот номер ему не пройдет! — думал Савелий. — Я расквитаюсь, обязательно сегодня ударю кого-нибудь. Степку Самылина надо разыскать. Плут, два рубля с каких пор должен мне и не отдает. Сейчас разыщу, он с мясом приехал, если опять не отдаст — я влеплю ему оплеуху. Погашу задолженность!»

IX

Долго ходили по базару Санька с Томкой, и оба они, только по разным причинам, были довольны, что Груня издала наблюдает за ними.

— Пускай позлится! — злорадствовала Томка. — Знаешь, что она сейчас думает? Она сейчас думает, что ты совсем изменил ей, со мной любовь закрутил!

— Ты, оказывается, умеешь угадывать чужие мысли! — сострил Санька. — А почему у вас с ней все время какие-то нелады?

— Потому и нелады, что она воображает! Подумаешь: передовая доярка, маяк! А мне, если она хочет знать, не нравится дояркой, я лучше на птицеферму пойду! Вон в кино показывали «Сибирь на экране»: полон двор белых кур, земли не видно, а птичница, молоденькая да такая красивая, несет полную корзину яиц. Яйца крупные! Вот и меня так покажут!

— Это надо заслужить.

— Я постараюсь, заслужу. Потому, что это красиво! И весело на птицеферме: все время петухи поют!

Санька, разумеется, все время думал о Груне, поддерживать разговор с Томкой ему было нелегко, и он перескакивал с одной темы на другую.

— Когда же ты замуж-то? — спросил он.

— А за кого?

— Как за кого? А Васька?

— О! С Васенькой у нас давно уж все кончено, мы больше недели не разговариваем! Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой!

— Это что же у вас получилось?

— То и получилось, что у Васеньки, как у февраля, одного дня в башке не хватает. Сидим вечером на бревнах около нашего двора, а я и скажи: эх, говорю, выйти бы замуж за космонавта! В газетах написали бы: космонавт такой-то приехал с супругой в Индонезию. Васенька мой надулся, ушел и... Разошлись, как в море корабли. А я же нарочно сказала, я вообще сказала, не в том смысле!..

Сердце разрывалось у Груни, слезы подступали к горлу. Где бы поплакать, куда укрыться от людских глаз? Томка, змея-разлучница, добила своего!

Груня подошла к телеге и ткнулась лицом в накошенную траву, спрятав голову между флягами.

Тут-то и нашел ее Санька, отпустивший Томку на все четыре стороны: она свою роль сыграла. Но... Груня больше видеть не хочет Саньку! Все кончено, все, все! Не говори, не говори, ты же видишь, как она плотно зажала-запечатала ладонями свои уши, не желая слышать не только никаких оправданий, но даже твой голос. Как она вздрогнула, когда он тронул ее за плечо! С каким отвращением отскочила прочь! Она убежала, оставив его около телеги. Вот это номер! А он уже пригласил на свадьбу двух комбайнеров, с которыми когда-то работал в Осоках, в МТС. Ноги подкосились под ним. Хороший совет дал Маринин!

— Спасибо, Сидор Поликарпович! — сказал Санька, подойдя к машине, где сидел возле кадочек председатель. — Большое спасибо! Век не забуду!

Выслушав, в чем дело, Маринин сказал:

— Значит, допустил перегиб. Перегнул палку. Пересоллил. Что делать? Не могу знать, дорогой! В моей практике не было таких перегибов.

Х

— Вор!

— Лови!

— Держи!

— Деньги вытащил у одной женщины!

— Корову женщина продала, деньги за пазуху сунула!

— Да не корову, а ягоды!

— Ягоды? А говорят — корову!

— Теперь наговорят, только слушай!

— Корову за пазуху сунула?

— Да не корову, а ягоды!

— Ягоды за пазуху?

— Тьфу!..

Волны, воронки, завихрения пошли по многоцветной толпе, как по реке, когда по ней быстро несется пароход. Вор, высокий, видный издалека, в соломенной шляпе, рассекая толпу, мчался к воротам, и, странное дело, никто не ловил его, наоборот — все расступались и давали дорогу. Такого, базарного, карманного, дневного, давно уже не видели в Осоках.

Наконец, кто-то подставил ногу, и Савелий — все же нужно сказать, что это был именно он — грохнулся в пыль, и соломенная шляпа откатилась в сторону. Вполне возможно, что Савелия и поколотили бы основательно, не подоспей вовремя Санька. Растолкав поклонников самосуда, которые уже приготовили кулаки и распалляли свою кровь подходящими к случаю возгласами, Санька поставил Савелия на ноги, надел на него шляпу и так плотно прихлопнул ее — не покидай хозяина в беде! — что Савелий сморщился и подогнул колени.

Но в это время Саньку самого ударили с тыла, да так крепко, что он покачнулся. Безжалостно наступив ногой

на свою новенькую зеленую шляпу, Санька повернулся к обидчику, коренастому человеку в пыльных сапогах, и... неизвестно, что получилось бы, если б между ними не встала Груня. Хватая за руки Саньку и его противника, она кое-как, с пятого на десятое, торопясь, задыхаясь, растолковала собравшимся, в чем тут дело. Публика начала посмеиваться.

— Тогда извини, браток! — сказал Саньке тот, в пыльных сапогах. — А я думал...

— Ничего, ничего! — все простил ему Санька, ибо Груня была теперь здесь. — Ничего. Это бывает, попадает по своим, как сказал Василий Теркин... Куришь? — тряхнул он пачкой «Памира», и три сигареты угодливо высунулись наружу: бери любую!

Подошел милиционер. Савелий побелел, как творог. Прибежала растрепанная и разъяренная Матрена.

— Этот, что ли? — спросил у нее милиционер, указывая на Савелия. — Вы точно знаете, что именно он вытащил у вас деньги?

— Господи, как не знать, это мужик мой, выхватил и... на деготь, говорит!

— Ну, тогда что ж... разбирайтесь, как хотите! — махнул милиционер рукою и удалился.

— Слыхала? — воскрес Савелий. — Делите, говорит, как хотите! Поровну, значит.

Санька взял у Савелия деньги.

— Сейчас я вам разделю поровну! Комедию приехали разыгрывать, людей смешить? — загремел он, поднимая сумочку с деньгами повыше, чтобы Матрена не могла достать ее. Она забежала и с того боку, и с другого, и даже подпрыгивала, как курица за мошкой — нет, ничего не выходит, хоть лестницу подставляй. — Кинокомедию?! Да не прыгай, мамаша, напрасный труд! Не достанешь! Я сам отдам. В колхозную кассу. Оприходуем, как поступление от реализации дикорастущих ягод. Не беспокойтесь, ваши труды не пропадут, вам трудодни начислят. Но, конечно, эти трудодни сни-

мом в виде штрафа за отлынивание! Что? Нет, очень даже законно будет.

Долго ходила Матрена за Санькой по базару, выпрашивая деньги.

— Подурачился, попугал — и хватит, отдай! Мы же печку переключивать хотим, шайтан долговязый! Плиту надо купить, колосники, дверки, одну побольше, другую поменьше, для поддувала, за этим и приехали, а ты...

Санька посоветовался с Груней: как быть?

— Не отдавай, — шепнула та. — Как решил, так и сделай. Сдай деньги в кассу. Надо отвалить их от этих ягод, срамоты-то, срамоты-то сколько! А маме я лучше свои деньги отдам, молочные, пусть купят и колосники и все!

Груня с Санькой уехали на машине, а Савелий с Матреной остались. Все, что нужно для печки, они купили, только не нашли колосников, и Савелий ушел за ними куда-то далеко, к элеватору — там был большой хозмаг. Ушел — и как в воду канул! Явился лишь к самому закрытию базара, держа колосники подмышкой, как портфель.

— Где же это тебя окаянные носили столько времени? — грозно спросила Матрена. — Где ты был?

Савелий не сказал, где он был. А был он у того самого Семена Семеныча, который продавал Хозяек Медной горы.

«Поскольку приглашал человек, — вспомнил Савелий, шагая с колосниками по Енисейской улице, — надо зайти, поведать, а то обидится! Вот, скажет, какой, десять лет не видались и не мог заглянуть на минутку! Может он приготовился, ждет!»

Савелий не ошибался. Семен Семеныч ждал его, да не один, а со своим дружкой Тихоном Брызгаловым. Ждали на тарелке нарезанные красные помидоры, ждала поллитровка и, конечно, сало — без сала сибиряки не выпивают. На сковородке шкворчала яичница.

В это время и вошел Савелий со своей покупкой.

— Явился еси! — обрадовался хозяин и представил его Тихону. И вот, неизвестно почему, но только этот самый

рыжий и косоватый Тихон Брызгалов из колхоза «Россия» с первого же взгляда страшно не понравился нашему Савелию. Он с наслаждением дал бы Тихону оплеуху, если бы писанные и неписанные законы не запрещали таких поступков. Но и Савелий не понравился Тихону в такой же мере, он тоже подумал, что неплохо бы стукнуть этого Чугункова. Сложна душа человеческая! Но, конечно, ни тот, ни другой виду не показали, а совсем наоборот, притворились, будто бы им очень приятно сидеть за одним столом и глядеть друг на друга. Все трое чокнулись и выпили.

— За наше знакомство!—сказал Савелий Тихону Брызгалову.

На полке стояли, сушились Хозяйки Медной горы, еще не одетые, без сарафанов и без кокошников, то есть невыкрашенные. Савелий поглядел на них, усмехнулся и покачал головой.

— Что? — насторожился хозяин.

— Ничего. Так я. Чудно мне все же, Семен Семеныч! Куклы! Я думал, их только маленькие девчонки лепят.

— Ну, тут понимать надо! — вдруг рассердился Семен Семеныч. — Это не пустяки, а искусство! Скульптура! Есть люди, которые на этом деле больших успехов добиваются. Входят в славу. Мухина, например!

— Мухина? — удивился Савелий. — Разве она тоже занимается этим?

— Занималась! Но сейчас ее уже нет в живых.

У Савелия и ложка выпала из руки.

— Как так? Когда она померла? Я ее в то воскресенье на базаре видел, она поросят продавала!

— Кто?! — рывкнул захмелевший хозяин.

— Ну... кто... — растерялся Савелий. — Мухина, Анна Гавриловна! Она же из нашего колхоза, только замуж вышла в совхоз, там и прославилась, когда свиаркой стала работать, там и орден получила!

— Держи! — подал хозяин стакан Савелию, считая разговор о ваятелях законченным. — Кукол буду лепить,

а в колхоз к вам не пойду! Не по душе мне колхозная система, вот и все!

— Колхозная? — кричал побагровевший от вина Тихон Брызгалов и, навалившись грудью на стол, так и старался соединить свои усы с усами хозяина. — Не говори, Семен! Колхоз... это же рай! Умирать не надо! Самое основное — техника! Оснащение! Возьмем посевную. Трактора! Вспахали, посеяли — точка! Точка с запятой! Хлеб растет! Уборочная — комбайны! Степные корабли! Сибсельмаш! Народ из города пришлют в помощь хлеборобам... только шум стоит! Хлеба на токах в поле — вороха! Ночи темные! Только не тушуйся, не лови ворон, не хлопай ушами! Бери мешок и... гм! гм!.. вы меня понимаете? Я молчу! Я кончил!

— А если попадешься? — задал вопрос Савелий.

— А кому я попадусь? Тебе? Я с хлебом иду, а ты навстречу мне с пустым мешком туда идешь, за хлебом! Или, наоборот, я с пустым мешком иду, а ты мне навстречу, уже нагружился, пыхтишь! Так что ж мы, пустая твоя голова, заявлять пойдем один на другого?

— И все так делают?

— Все! Исключительно!..

Савелий поднялся на ноги, размахнулся с правой и... р-раз! Влепил рыжему Тихону оплеуху, несколько уже не думая о последствиях столь грубого нарушения писанных и неписанных законов. Слишком уж накопело на сердце. Оплеуха была крепка и столь неожиданна, что Тихон онемел с раскрытым ртом. Он, казалось, не верил, что его ударили. Было ясно, что произошло что-то очень скверное, но что именно — Брызгалов еще не усвоил, не переварил. Семен Семеныч растопырил руки, готовясь разнимать, но разнимать было некого. Савелий, как ни в чем не бывало, сидел за столом и посыпал солью половинку красного мокрого помидора, готовясь закусить очередную рюмку.

— За... за... за что? — вымолвил, наконец, Тихон.

— Ладно, Тихон Мартыныч, не обращай внимания! — успокоил хозяин. — Кушай! Бери грибочки соленые!..

Выпили еще. Помолчали.

Тихон Брызгалов грустно ел редьку и все поглядывал исподлобья на Савелия, что-то напряженно обдумывая или стараясь вспомнить что-то.

— Нет! — грохнул он вдруг кулаком по столу и поднялся на ноги. — Нет, как он смел поднять на меня руку? Как ты смел поднять на меня руку?! — заплакал он, стуча кулаком по груди своей. — Да знаешь ли ты, что я член ревизионной комиссии, а?! А? Тебе известно это или нет? А?

— Сядь, Тихон, сядь! — уговаривал хозяин. — Не обращай внимания! Он не знал, что ты должностное лицо, а то он не позволил бы этого!

— Как не знал?

— Откуда же ему знать? Садись, успокойся! Кушай!..

Савелий подхватил свои колосники и ушел от греха.

«Ничего! — думал он, быстро шагая и оглядываясь, не бежит ли за ним Тихон. — Хотя и мне сегодня влетело ни за что, ни про что, ну да и я отыгрался. Крепко я влепил ему! Крепко, крепко! Правильно влепил!»

XI

— Где ты был, спрашиваю?! — повторила Матрена.

Савелий не отвечал и глядел мимо Матрены. Завел Гнедка в оглобли, запряг, сели и поехали.

— А куда мы едем?! — закричала Матрена с нарастающим гневом. И в самом деле, они ехали в сторону, противоположную той, куда им нужно.

— Тебя глядеть едем, твою милость! — крикнул Савелий. — На Доску почета занесли тебя!

— На Доску почета? Меня?!

— То-то что тебя! Именно тебя! За хорошую работу, нормы перевысила.

— Не смейся, сват, оглянись на себя-т!

— Какая корысть мне смеяться? Проходил мимо, видел, вот и говорю. Сейчас сама поглядишь.

Матрена была не против того, чтобы покрасоваться на Доске почета, да еще и на районной. Вполне возможно, что Савелий и правду говорит. Начала прихорашиваться: поправила платок, вытерла губы.

— Только меня одну, а тебя нет?

— То-то что нет! — вздохнул Савелий и будто с досады, что не попал на Доску почета, хлеснул лошадь кнутом. Гнедко протестующе завертел хвостом, как бы говоря: я-то здесь причем, что ты на меня злишься?!

— А почему так? — возмутилась Матрена. — Неужели ты не заслужил? — Кривила душой Матрена: она была рада-радехонька, что его обошли. — Это меня за тот день, отец, когда — помнишь? — я сено накладывала на тракторную волокушу!

— Может быть, и за тот! — опять вздохнул Савелий.

— За тот, за тот! Ну, правда, и поработали мы тогда, помахали граблями! И стемнело, а мы все работали, больно уж хотелось нам скирду-то закончить.

Савелий мрачен. Понятно: чужая радость не всегда нам по душе!

«Это Санька постарался, похлопотал за меня! — догадалась Матрена, и чувство нежности к будущему зятю заполнило ее сердце. — Он! Он, шайтанушка долговязый. Потешил тещу, замолвил словечко. Конечно, и Груня тоже сыграла свою роль. Они! Значит, и деньги отдаст. Он шутник, посмеяться-то больно уж любит!..»

Напротив аптеки Савелий остановил лошадь.

— Пойдем! — сказал он, спрыгнув с телеги, и Матрена охотно последовала за ним.

Между тротуаром и забором, оклеенным афишами, стояла на двух ногах доска, вроде той, на каких пишут мелом в школе. Поверху доски шли крупные слова «МЕТЛОЙ ПО ШЕЕ», а над ними красовалась самая настоящая, натуральная березовая метла, в трех местах перетянутая проволочными поясочками.

— Названье-то какое! Куда ты меня ведешь?! — сердито спросила Матрена.

— Иди, иди! — сказал он.

Обычно перед Доской стоят зрители и читатели разного возраста, но в этот поздний час, на солнечном закате, не было никого. За стеклом наклеены карикатуры: буян с бутылкой в руке, дробящий кулаком тарелки на столе; председатель колхоза преподносит корове вместо корма план надоя молока в разрезе по кварталам; толстая женщина с огромной корзиной бежит куда-то сломя голову, а за ней гонится разгневанная корова, подняв хвост...

— Вот! — указал Савелий кнутовищем. — Можешь любоваться. Это, с корзинкой-то, ты. Твоя милость. Вот написано! Читай, читай!

Вот Матрена Чугункова
Из колхоза «Светлый путь».
Ей колхозная корова
Жизни даст когда-нибудь!
Не о том, чтобы кормами
Обеспечить скот сполна,
А о собственном кармане
Беспокоится она!

— Вот! — повторил Савелий. — Читай, радуйся! Матрена прочитала, то краснея, то блелея. Как одурачил ее Савелий!

— За этим-то пустяком ты и привез меня сюда? Разъезжаешь по городу без всякой надобности, гоняешь колхозного коня? А?

Она грозно, всем корпусом повернулась к Савелию, уткнув кулаки в бока и широко расставив ноги в новых голубых туфлях. Ей было жарко, душно. Она рванула с головы желтый платок с цветочками, словно подсолнечник сорвала.

— Я... вот... сниму эту метлу... да как начну тебя... метлой по шее!

— Не-ет! — протянул Савелий. — Метлу эту, матушка моя, Матрена Григорьевна, ты не возьмешь, эта метла на посту, при служебных обязанностях!

— Ворище, карманник проклятый! Не совестно? Летит по базару-то, как тот!.. А почему тебя не изрисовали? Почему одна я? А ты где?

— Не могу знать, матушка моя! Значит, в тот день ты одна ходила, а я на скирде стоял!

— Замолчи! Чтоб я тебя не слышала больше! Она опять повернулась к Доске.

— И это правильно нарисовали?

— А чем неправильно?

— И... такие у меня губы? И такой у меня нос?

— А какие, ты думала? Копия! Ты что, в зеркало не смотрелась ни разу?

— А корова бежит за мной... это к чему, как понимать?

— А вот, бодать хочет тебя, чтобы ты повернулась лицом к кормовой базе. Ишь, рога наставила, сейчас прынет — ты и полетишь кувырком!

— А ты и рад?

— Что мне радоваться, — смутился Савелии, — Какая корысть? — Привез, чтоб ты была в курсе.

— «В курсе»! Вот погоди, выедем в поле, там я покажу тебе «в курсе»! Я что, девочка семи лет или дурочка какая, смеяться-то надо мной?

И она снова повернулась к Доске, кусая губы. Чутье подсказывало ей, что без Саньки здесь не обошлось. Поэтому и не нарисовали Савелия. Савелия он любит, а Матрону... Хорош зятек будет!

«Нет, я ему прямо скажу: бери свою Груню за белу рученьку и веди ее куда хочешь, а в моем доме чтоб ноги твоей не было! Скандальить с тобой, как в кино показывали... нет уж, покорно благодарим! Вот так-то вот, зятек мой разлюбезный, долговязый дьявол!»

— Поехали! — вышла она из оцепенения. — Нечего тут любоваться-то. Я все равно дознаюсь, кто подстроил эту насмешку и, самое основное, почему тебя нет? Я найду концы. Поехали!..

Но ехать им не пришлось. Гнедка не было. И Гнедко, и телега — все растаяло, как дым. Тут Савелий действительно почувствовал себя виноватым с головы до ног. Привязать лошадь — его прямая обязанность, а он не привязал, не думал, что столько времени задержатся у Доски, или понадеялся на сознательность Гнедка...

Теплая, душистая мгла июльской ночи, ночи безоблачной и тихой, без малейшего ветерка, мягко окутала копны молодого сена, поля пшеницы, ячменя, кукурузы, гороха и гречихи, набилась в кусты. Круглая красноватая луна поднималась все выше, и тени все ближе подползали к тем предметам, которые их породили. По-другому, пристальней и вдумчивей стала глядеть луна на наши поля и леса с тех пор, как земля прислала весточку и подарочек ей, такой одинокой, похожей на печальную вдову.

По пустынной уснувшей полевой дороге быстро шагали Савелий и Матрена. Как бы ни ссорились они, а шли все же рядом — вечен союз их, и никакие превратности судьбы не в силах разорвать его. Что ж? И Адам с Евой не разошлись после того, как их выгнали из рая, а поссорились они, надо полагать, крепко, сваливая вину друг на друга.

Итак, Савелий и Матрена шли рядом. Однако нельзя сказать, чтобы локоть одного касался локтя другого: нет, между ними свободно можно было проехать на телеге, и шли они, строго говоря, не по дороге, а по ее обочинам.

Дотемна бегали они по улицам и переулкам, спрашивая встречных и поперечных, не попадалась ли лошадь гнедой масти, с телегой, на телеге две фляги, корзины, плита, колосники и две чугунные дверки, одна побольше, другая поменьше — для поддувала? Встречные и поперечные посылали их на улицу Чапаева, на Первомайскую, на Алтайскую, на Красноярскую, на Иркутскую или совсем никуда не посылали: не видели такой подводы!..

Хорошо летней ночью в поле! И поспевающие, белеющие во тьме хлеба, и кусты, и каждая былинка — все притихло, затаило дыхание и прислушивается к чему-то. Ка-

мень у дороги — и тот, кажется, думает какую-то большую думу. Кто знает? Может быть, на этом камне отдыхал сто лет назад бродяга, бежавший с Сахалина?

— Если Гнедко домой не пришел, — заговорил Савелий, — то придется подавать объявление по радио и в газету. Так и так, мерин гнедой масти, во лбу звезда, передние ноги в белых чулках, знающих сообщить колхозу «Светлый путь».

— А за объявление-то платить надо. Да И не найдется если?

— Ну, как не найдется? Теперь лошадей не воруют. Это раньше конокрады были. А не найдется — внесем в колхозную кассу стоимость, куда денешься!

— Городишь, городишь! Слушать тошно! «Стоимость!» Это где же мы возьмем такую стоимость?

— Найде-оо-м!

Матрена даже плюнула с досады. Ну что за человек?! Найдем! Легко сказать!

— А стожок-то криво сложили, — заметил Савелий, посмотрев на стог сена возле дороги. — Криво, криво! Сложил дядя, на себя глядя. Ишь, верх куда увел! Таких скирдоправов... метлой по шее.

Матрена — ни слова, ни полслова. Он опять:

— Завтра на покос. Слышишь? На покос! С утра пораньше. Завтрак сготовь, не проспи мне.

Впереди на дороге что-то блеснуло.

— Не фляга ли наша?! — обрадовался Савелий и прибавил шагу. — Ну да, фляга. Вот она! Не горюй, мать, Гнедко дома!

— А я и не горевала нисколько. Хоть бы он совсем провалился в тартарары вместе с тобой!

Вскинув на плечо находку, Савелий зашагал веселей. Ему стало легче: Гнедко дома!

— Нет, я все удивляюсь, сложили-то больно складно:

Как Матрена Чугункова
Из колхоза «Светлый путь»!

Это же песня, прямая песня! Девчата узнают — под гармонь будут припевать. Обязательно будут! Потому что складно. В ритму!

— А я про тебя сложу еще похлеще!

Как Савелий Чугунков —
Хуже всех он мужиков!

Вот тебе. Что, нарвался?

— Нет: мать, смех смехом, а трудодней-то много мы с тобой проворонили. Ну ее, эту смородину ничего не выходит. Как играют, так и пляши! А то играют «Русскую», а мы с тобой пляшем «Во саду ли в огороде». Потому оно и выходит... не в ритму!

А вот и другая фляга валяется на дороге и две корзины.

— Все растерял, шайтан. Бегом бежал, что ли? Он метлы напугался!.. Бери флягу, Матрена, а корзины брось, пес с ними.

Связав платком дужки корзин, она перевесила их через левое плечо, а флягу взвалила на правое. Если б он сказал, что корзины нельзя бросать ни в коем случае, она с удовольствием швырнула бы их подальше от дороги, в кусты.

Вот еще две корзины. Э, да тут и колосники, и плита, и обе дверки, одна побольше, другая поменьше — для поддувала. Видно, телега наехала колесом на пень, перекосилась и сбросила с себя весь груз.

— Вот что, — сказал Савелий, подумав. — Давай сложим все в сторону, травой прикроем, а завтра я приеду, коня возьму. Разве можно нести все это? Тут по два пуда на брата, самое малое. Оно чугуна, милая моя, а не дерево.

— Бери, бери! — закричала Матрена, взваливая на себя еще две корзины и оставляя на долю Савелия флягу, плиту, колосники и обе дверки. — Он травой прикроет! Он завтра приедет... Бери.

Пришлось взять. Немного прошли — Савелии одну дверку бросил.

— Ты что, с ума сошел? — остановилась Матрена.

— Бери сама, а я и этим сыт по горло!

Матрена взяла, скрепя сердце. Прошли немного — Савелий бросил колосники.

— Понравилось, что я подбираю? — спросила Матрена. — Я по-твоему лошадь, да?

— Ну и я не лошадь, матушка моя, к вашему сведению!

Ладно! Взяла Матрена и колосники.

— Трудодней-то, трудодней-то сколько уплыло! — стоял Савелий.

Он связал плиту с флягой и перевесил их через плечо. Массивная плита довольно плотно прилегла к спине, не беспокоила, но фляга каталась по груди и животу то вправо, то влево, как будто Савелий был не человек, а часы, а фляга — маятник.

— Давай отдохнем! — сказал он, и Матрена молча, но с большим удовольствием приняла это предложение, сбросила на землю груз и опустилась на траву возле столбика. Дощечка на столбике гласила, что до дому им остается двадцать семь километров, а прошли они тринадцать.

Далеко, в селе Карасево, пропели петухи.

— Первый час, — сказал Савелий. — Дружно гаркнули карасевские петушки... в ритму! Оно так... Если народ в колхозе дружный, то и петухи поют все враз, согласно, глагольно! А ежели в колхозе дисциплины нет, то и петухи поют вразнобой, кто в лес, кто по дрова, это уж я не раз при мечал...

Послышался шум машины.

— Ну мать, счастье наше! Сейчас поедем.

Нет! Едут, да не сюда. Свернула машина куда-то в сторону — и шум заглох. Уж когда не повезет, так не повезет.



ОСИНОВЫЙ КОЛ

Это было давно, страшно давно..

Но так ли уж давно, если все это было на моей памяти?

1

Зной, тишина, рожь, рожь кругом, кое-где в ней зеленеют кусты черемухи, береза или дубок. На небе ни облачка. Иван берет ведро и межою пробирается к роднику. Над родником сделан навес, крыша на четырех столбиках, столбики покосились. Деревянная иконка, прибитая к одному из них, облупилась, доски на крыше поросли зеленым и желтым мхом.

Из колодца, взятого в сруб, пахнет тинной. Во время засухи выносили из церкви иконы, хоругви, ходили по полям и около этого родника служили молебен. Ставили стол, на стол помятую медную чашу с двумя ручками. Церковный сторож Тихонич, косматый и грубый старик с пожелтевшими от табачного дыма усами, зачерпнет, из родника ведро воды, бухнет в чашу, а священник макает в нее кропило и, напевая «Спаси, господи, люди твоя», машет им во все стороны, кропит и головы молящихся, и желтеющее засыхающее просо.

А жаворонки висят над просом, над иконами и поют о том, что все это напрасно, напрасно, напрасно, что все сохнет, посохнет.

Мужики и бабы, девки и парни — все поголовно в лаптях. Даже богатые не надевали сапоги или ботинки: в лаптях легче ходить целый день по полям и не к чему выстав-

лять перед богом свой достаток. А то господь скажет: «Ишь... хнычут, стонут, асами в сапогах!».

Крестятся, кланяются, а зной заливаает поля, и как сладостно было Ивану, когда на лицо ему попадали капельки с поповского кропила: казалось, что накрапывает дождь. И польет он все, и воскреснут поля, зазеленеют овсы, горох и просо, и повеселеет народ, вздохнет с облегчением, а то давно уже не слышно в селе ни песен ни смеха.

Все посохло в то лето, и великий голод охватил Поволжье.

За зиму лошади настолько отощали, что весной падали в борозде. Упадет и лежит, ори на нее, бей кнутом — бесполезно. Тогда подходят соседние пахары — взяли лошадку за хвост, за гриву, подняли, поставили на ноги, поддержали со всех сторон... и, смотришь, опять пошла, тянет соху!

Именно так пахал на своей лошаденке Иван, он же Ванятка Каленый.

К нам в народ прислали в те годы прейскурант на театральные реквизиты, и там было: борода кулака 50 копеек, борода середняка 30 копеек, борода бедняка 8 копеек. Вот такая восьмикопеечная борода у Ивана, рыженькая, а лицо, шея и руки обрызганы крупными веснушками — отсюда и прозвище: Ванятка Каленый.

2

Дул отсыревший мартовский ветер, шумел в просяной соломе, сложенной под окошком. Соломы немного осталось, да и та не нужна теперь: лошаденка пала.

На столе горела коптилка: конопляное масло налито в чайное блюдечко, в масло погружен фланелевый фитилек, а керосину не было в те годы, и спички пропали, каждый курящий носил в кармане стальную высекалку, кремь и трут.

На кольшке, вбитом в стену около двери, висели оброть, хомут и седелка. И вожжи. И кнут. Все есть, только лошади нет. Некого запрягать, некого погонять.

— Что будем делать-то, мать?!

Варвара молчит.

Немудрящая была кобыленка, одни мослы, а все же кормила, пахала с грехом пополам. Где сама тянет, до земли опустив голову и хватая попутно лебеду и осот, где Иван, побагровев от натуги и согнувшись в три погибели, изо всех сил толкает вперед соху. А теперь крышка. Отъездил Иван Фролович!

— Что будем делать-то, мать?!

Варвара молчит. Она лежит на печи. Да ему и не надо ответа. Он знает, что она может сказать.

«Хоть живой в землю зарывайся!» — вот что скажет.

Спит Иван в лаптях, в шубенке и даже в шапке. До сна ли теперь? Добрые люди пахать скоро поедут. Вчера Яков Пантелин лемеха возил в кузницу.

Шубенка на Иване — горе, а не шубенка: из каких-то тонких, жестких, гремящих овчин, словно их и не выделывали совсем, содрали сдохлых овец, просушили на солнышке и сшили шубу: носи, Фролович, как раз по тебе!

— Бог не без милости! — сказала Варвара и — словно шилом уколола Ивана: зашагал он по избе, как ветер носится между столом и порогом, развеваются полы шубенки, а под нею длинная рубаха серо-буро-малинового цвета, сшитая из холста и выкрашенная корой черноклена.

— С богом-то тебя! — выбранился Иван нехорошим словом.

— Ой, Иван! Воздержался бы выражать такие слова! С богом Иван, как с соседом, то мирился, то ссорился.

Идут дела мало-мальски, и хлебушко уродился, и скотина на ногах, — сам скажет бывало:

— Свечечку надо засветить перед образом: праздник нынче, в большой колокол звонят!

А если, как теперь вот, хоть суму надевай, — нет богу ни шиша! Как аукнется, так и откликнется! Что посеял, то и пожнешь! Как бог к Ивану, так и Иван к богу!

Продали самовар, ведерный чугунок, Варварину новую шубу, спитую еще до замужества, и берегла она ее в сунду-

ке, два раза в год надевала, по большим праздникам. Варвара заплакала. Больше ей уже никогда не видать такой шубы!

Сколотили семь червонцев... Нет! Никакой лошаденки невозможно купить за эту цену! И думать нечего! Занять бы у кого червонца три до осени! Осенью можно рассчитаться: какой-никакой хлебишко уродится, конопля, картошка.

И решил Иван сходить к Никанору Кучину, церковному старосте и маслобойщику.

— Поооооиду! — громко и нараспев кричал Иван, возбуждая себя, набирая решимости, и еще быстрее зашагал по избе. — Паду в ноги! Заплачу! Дааст! Быть того не мооо...

Поперхнулся. Голос пересекло. Побелел, словно не денег просить собирался, а руки на себя наложить.

Спит село Никольское, лапотное седо, соломенное. Мягкий сильный ветер гонит Ивана по темной улице. Чавкает под широкими лаптями унавуженная дорога.

Никанор Кучин, высокий, кудрявый, в новых черных валенках с козырьками сидел на лавке возле стола. На стене, рядом с огромными часами, в футляре которых мог бы спрятаться взрослый человек, висели на гвоздике счеты.

У порога барахтался на свежей соломе, поднимаясь и падая, новорожденный теленок.

Иван похолодел. Последняя надежда разлетелась вдребезги!

— Нет, Иван Фролович! — вздохнул Кучин. — Знаю я тебя, человек ты справедливый, за тобой не пропадет, и вполне сочувствую твоему горю, ну... нет! Были у меня деньжонки, Иван Фролович, да вчера привезли мне из мордовского Канадея семя конопляного два воза, и отдал все до копейки. А то не жалко бы...

Иван вышел.

Ах, как тяжело, как совестно выходить из дому, где ты просил займы и тебе отказали!

— Ну что ты будешь делать! — развел он руками в Потемках. — Хоть матушку-репку пой!

— В Сибирь поезжай, Иван Фролович! — советовали мужики. — В Сибири лошади дешевые! Кряжимские ездили, артелью собирались, вагон откупали. Восемнадцать лошадей привезли! Поезжай, поезжай! А туда товару захвати какого-нибудь, чтобы дорогу оправдать! Ложек! Там ложки, сказывают, в цене!

И поехал Иван в Сибирь, залез в товарный вагон, рядом с собой поставил ящик с крашеными деревянными ложками, чтобы дорогу оправдать. Взял небольшое ведерко — за кипятчком ходить на станциях, синюю кружечку прихватил, чаек пить. Ржаных сухариков собрала ему Варвара фунтов десяток. Больше ему ничего не надо, он хорошо доедет, а оттуда пойдет с лошадкой по селам да деревням, не дадут добрые люди с голоду умереть.

Перед отъездом сходил в сельсовет за справкой, чтобы видно было, кто он такой, Иван, и откуда.

Председатель сельсовета Тимофей Кузьмич Умнов, хороший человек, внимательно выслушал, куда и как собирается Иван Фролович, закурил папиросу «Смычка» и задумался. Глубоко, сурово задумался, словно все Ивановы заботы в самого себя погрузил. Горько Тимофею Кузьмичу, что не может он выложить Фроловичу три-четыре червонца и сказать:

— На! Купи лошадку и паши!

Но и радовался председатель: с каким воодушевлением собирается Иван в далекую трудную дорогу! Готов на край света отправиться с палкой в руке да с сумочкой за плечами, горы перелезть, реки переплыть, лишь бы добыть лошадку, привести, пахать, сеять!

Деньги Варвара под рубахой зашила Ивану, на груди. Накануне отъезда всю ночь не спали, лежали на печи и думали. Говорили мало, больше молчали, прислушиваясь к шуму мартовского ветра и шороху соломы, свисающей с крыши.

Когда пропели третьи петухи, Варвара зажгла огарок свечки. Долго и тоскливо смотрел Иван на спящих детей — Катю и Дуню.

— Деньги, деньги, отец, рукой пощупывай все время! — уже за воротами в сотый, должно быть, раз наказывала Варвара. — И... и не приведи бог, если что случится! Вымолвить страшно!

Простились. Варвара заплакала. Словно чувствовала что больше уж никогда не увидит она своего Ивана! Сырая теплая мгла поглотила его, ветер заглушил шаги. Ящик с ложками он отправил на станцию с попутной подводой.

В Петропавловске на базаре продал он ложки, выручил за них ровно столько, сколько сам заплатил, и тем остался доволен. Не понес убытку — и слава богу!

Пока он ехал, ложки в Сибири подешевели, а лошади вздорожали. Купил он за свои семь червонцев такую жалкую кобыленку, что с ней в своем селе и показаться-то совестно. Еще и еще раз оглядел он ее со всех сторон, и сердце облилось кровью. За что отдал деньги? Как ее запрягать, если она ростом чуть-чуть повыше телеги? Ножки тонкие, копыто с чайную чашку. Но — видно тому быть! Одно утешенье — подрастет. Были бы кости, а мясо будет.

Переночевал в Петропавловске на окраине в глинобитной избе, а на зорьке двинулся в путь. Верхом на лошадку не сядешь — слаба, жалко ее, да и сидеть-то на ней, на костлявой, одно мученье. Придется вести в поводу до самого дома — две тысячи верст!

Когда взошло солнышко, Иван и шагающая за ним лошадка цвета просяной соломы были уже далеко от Петропавловска. Но, боже мой, как страшно далеко до Пензы, до Кузнецка, до села Никольского! Солнце догнало и перегнало Фроловича: сначала освещало спину, потом левый бок, затем, клонясь к закату, ударило желтоватыми лучами в лицо, а он все шагал по сырой дороге, шагал и думал. Бросилось в глаза, что нет в Сибири ни гор, ни оврагов, местность ровная, населения мало.

— Вот бы где жить-то! А мы там мучаемся, земли мало, из-за каждой борозды скандал. В том году Васька Корягин, шельмец, отпахал от моего загона два лаптя, а когда я ули-

чил его, он, прохвост, на меня же с саженью полез, ударить хотел! Ударь-ка! Я бы те ударил! Рябой бездельник!

В одном месте дорогу пересекал широкий ручей. Иван остановился. Поглядел налево, поглядел направо... не видно, где ручей начинается, где кончается. А! Да теперь все равно, лапти с утра промочены насквозь!

— Пошли, Саня! — решительно шагнул он в ручей. Вода словно возмутилась, что в нее залез Ванятка Каленный, забурлила около его ног. Лошадка остановилась. Иван, упираясь лаптями в ледяное дно ручья, тянул веревку на себя, а лошадка тянула на себя.

— Ака! Чего ты напугалась? Или воды не видала?!

Веревка лопнула. Иван упал в воду, а лошадь, вильнув хвостом, взлягнув задними копытами, побежала обратно в Петропавловск. Шапка слетела с Ивана и поплыла прочь, словно ей надоело согреть голову, наполненную самыми безотрадными думами. Все покидали Ивана!

Часа два, не меньше, бегал он по мокрой, бурой, свалявшейся в кошму прошлогодней траве, подманивая лошаденку. Поймал. Обманул.

— Это ты и хотела бросить меня, Саня?! Ах, ах, глупая! Зарезать хотела ты меня!

Уже совсем стемнело, когда добрался до деревни. Привязав лошадку у ворот, вошел он, весь мокрый, в крайнюю избу, остановился у порога и помолился в темный передний угол. Громко, взволнованно, многословно рассказал, кто он такой, куда и откуда идет, — словом, всю автобиографию выложил. Не пустят ли добрые люди его переночевать? Ночевать пустили, и обсушили, и пригласили поужинать.

Не спится, не ложится и сон на ум нейдет. Домой, домой надо скорей, земля зовет, люди пахать скоро поедут! Крылья бы теперь! Крылья! Как только обозначилась полоска зари, Иван поднялся, поблагодарил добрых людей и повел лошадку. Она и отдохнула, и подкрепилась: сенца ей давала хозяйка.

— Пойдем, Саня! Знаю, что трудно, да ничего не поделаешь, милая моя! Вот сплеховали мы с тобой: шапочку-то упустили! Уплыла наша шапочка!

Вот уже вторую неделю они в пути, и снег весь сошел, только в березовых да осиновых перелесках лежат остатки сугробов, и те рваные, грязные. Повеяло теплом, летели журавли, жаворонки пели над Иваном. Жаворонки такие же, как и там, далеко, далеко, над родными полями, и вдруг радость прихлынула к сердцу.

— О-о! — закричал Иван, словно песню запел. — Ничего, Саня! Доберемся потихоньку! Тяжеленько, слов нет, ну да ведь как говорится, Саня: от дождя — не в воду! Век прожить — не поле перейти! Двенадцать раз ветер у теньяника паутину срывал, а он не падает духом, тринадцатую плетет! Так «старые люди говаривали! Придем домой, погуляешь на травке, отдохнешь, а потом пары пахать поедем с тобой! И телега там у нас есть, и соха, сошка, и...

Иван чуть не сказал, что и кнут есть, но вовремя спохватился. Про кнут, пожалуй, говорить не следует.

— И хомут есть, — вывернулся он. — Правда, хомут великоват, ну да я перешью на твой рост, за этим у нас дело не встанет!

3

— Уехал — как в воду канул! — вздыхала Варвара. Вот уж и травка зазеленела на бугорках, и яровое люди посеяли, а Ивана нет, и никаких вестей. Стали поговаривать в народе, что пропал он совсем, не дождетса его Варвара. Или деньги потерял и не перенес горя, руки на себя наложил, или захворал да и умер в дороге, в поле, в кустах.

— Бог его знает! — говорила Варвара, слушая такие речи. — Бог его знает! И сама не знаю, что с ним, и головы не приложу.

Украдкой, чтобы соседи не заметили, ходила в другое село, где нет знакомых, просить под окошками «милостинку — Христа ради». Старшей девочке наказывала:

— Далеко-то не бегай, Дуня! Я за грибами схожу в дуброву. За Катькой смотри, как бы в колодец не упала. В печи картошка в чугушке, ешьте тут.

Вернется мать вечером, поставит на стол туго набитый мешочек — сверху грибы-сморчки, а под грибами куски хлеба.

— На-ко вот! — выбрав кусочек получше, подавала Кате. — Лиса дала!

— Лиса?

— Лиса, дочка. Ешь, ешь!

— А как лиса хлеб печет?

— В печке. Печка у нее в норе.

Ела Катя и прыгала на одной ноге, спрятав другую под узенькой посконной рубашкой, — хороший хлеб испекла лиса!

Один раз шла-шла Варвара, села отдохнуть в дуброве. Понравились ей какие-то корешки. Наелась сладких корешков да и почувствовала себя плохо. Поднялась, а ее так и шатнуло в сторону.

— Что такое, господи, спаси и помилуй! Ни шло, ни ехало...

Собрала все силы, хотела пойти, — и опять каруселью понеслись перед ней дубы и березы, и земля перекосилась.

— Ой, не могу доченьки! Полежу, может, пройдет.

Да не прошло. На другой день пастух Василий Овдошкин наткнулся на нее, мертвую. Сороки трещали вокруг Варвары, таскали хлеб из сумочки, разглашая ее тайну.

Схоронили Варвару, а девчонок тетки к себе увели до прихода отца. И опустела совсем Иванова изба, двор зарос лебедой да польнью. Кошка помяукала, помяукала в сенках, стала бродить по конопляникам, и ребятишки убили ее камнями, посчитав бешеной. И земельный надел в яровом поле густо зарос осотом.

4

Был светлый, тихий и жаркий июньский день. Из раскрытых окон богатых мужиков пахло сдобными пирогами

и мясными щами. Курица, схватив на завалинке яичную скорлупу, удирала во все лопатки от другой курицы, которая гналась за ней, чтобы отнять добычу.

По случаю воскресенья весь народ был дома. Около избы Яшки Портянкина собрались мужики. Павел Дадашкин, в рваной соломенной шляпе, в старых резиновых калошах на босу ногу, сидел на завалинке привалившись спиной к бревенчатой стене, и сурово глядел на затылок сидевшего рядом с ним и согнувшегося Федяни Жучкова. Когда разговоры на минутку притихли, Дадашкин запел негромко:

Они потом жиреют, обжоры,
Твой последний кусок они рвут!

И при этом в такт песне указывал пальцем на Федяню, на его затылок и спину, обтянутую синей суконной поддевкой. Все засмеялись. Жучков понял, что смеются над ним, оглянулся, затем снял и осмотрел свой картуз — не положил ли Дадашкин на голову ему какую-нибудь пакость? Нет, картуз в порядке. Над чем же смеются?

Твой последний кусок они рвут!

Ах, вот в чем дело! Жучков хотел промолчать, считая ниже своего достоинства связываться с оборванцем, но не выдержал.

— А много кусков-то я у тебя вырвал? — вспыхнул он, повернувшись к Дадашкину.

— Ты что, Федор Федорыч? Не выспался?

— Чего там не выспался, слышу я, какую песню-то поешь!

— А какую знаю, — зевнул Дадашкин. — Песня хорошая. Революционная.

— Последний кусок у него рвут! — кипел Федяня, — Много у тебя их, кусков-то? Ты скорей вырвешь!

— Хватит вам! — закричал долговязый Терешка Русаков, по прозвищу шут-балакирь. Он сам любил посмеяться, но не над богатыми, а над бедными, потому что был сыном богатого отца и сам надеялся разбогатеть в скором времени. — Тише! Куски какие-то не поделили! Вы лучше послушайте, какой шум у Васи Самылина опять начался! Вот шутливая семейка! Каждое воскресенье дерутся, истинный господь!

Все притихли и повернулись к избе Васи Самылина. К громовому басу Васи присоединился раздирающий уши крик его сына Гани, затем женский визг, что-то загремело, шум выкатился на двор, и мужики побежали глядеть. Сам Вася, глава этой семейки, мужик большой, с толстой красной шеей, с черной курчавой бородищей, босиком, в коротких посконных портках, сидел верхом на своем долговязом сыне и дубасил его кулаками по бокам, выкрикивая при этом во всю глотку какие-то ругательства. Сын, стараясь вырваться из-под родительской опеки, то поднимался на четвереньки и бежал по двору с диким, отчаянным завыванием, то снова падал на траву и барахтался. Жена Васи, Маша, с криком металась около них, стараясь образумить мужа и выручить сына. Брат Васи, Максимка, стоял в сторонке, глядел на дерущихся, порою фыркал от смеха и вытирал ладонью нос и губы. А хромая, худенькая, сморщенная тетя Ориша, в лаптях и с палкой в руке, спешила на улицу, чтобы позвать на помощь народ.

— Разнимите их! Родимые вы мои! Христом-богом вас умоляю: разнимите!

А между тем именно она, тетя Ориша, и была виновницей скандала. Она ходила по миру и собранными кусками кормила все семейство.

Своего хлеба им хватало только до половины зимы, а потом все надежды возлагались на тетю. Она умела так просить, так низко кланялась, так хорошо, нараспев, складно да ладно благодарила, что не подать ей было грешно. По воскресеньям она набирала такую суму кусков и лепе-

шек, блинов и ватрушек, что не могла дотащить и, оставив груз около церкви или прямо на паперти, шла домой за мужиками. Вот тут-то и начинался спор и гром: кому идти за кусками? Максимка и Ганя отказывались: они женихи, девки смеяться будут! А если пойдет сам Вася, мужики смеются, кричат:

— Напахал?

— Это где у тебя, Василий Петрович, хлеб печеный уродился?

— Вот земля попалась человеку, а?!

— Не пойдууу! — выл Ганя, выбегая на улицу, но отец с кнутом в руке догнал его и схватил за рубаху.

— Пойдешь! — погнал он сына по дороге, подхлестывая кнутом. — Принесешь! Ж-жених какой!

Ганя лег на дорогу, в пыль. Отец хлестнул его еще разок, бросил кнут и пошел за кусками сам. Ганя, Максимка, Маша и тетя Ориша ушли в избу, и все затихло.

— Нет, мужики! — сказал Терешка Русаков, когда все вернулись на место, жалея, что кончилось бесплатное представление. — Нет, вы поглядели бы, как они вчера пары пахали!

Года два или три Самылины отдавали землю пахать исполу. Думал, думал Вася... Нет, так никогда на ноги не встанешь! И решили пахать своими силами.

— Троих запряг в соху, сам в корень, Маша и Ганя пристяжными, а Максимка на них пашет, за сохой идет! — продолжал Терешка.

— Неужели?!

— Истинный господь! Я подох со смеху! Кричу Максимке: кнут, кнут возьми! Почему без кнута? Первый загон они вспахали хорошо, как на лошади, не отличишь, истинный господь, земля около Большой березы мягкая. А переехали к Мелким дубочкам...

— И соху на себе носят?

— На себе, а на чем же? На плечах несут, как покойника! Подохнешь со смеху! У Мелких дубочков земля крепкая,



суглинок, камешки, тут у них и началась катавасия, дьякон Кир тузит попа Афанасия!

Терешка хотел рассказать подробнее, как было дело, но в это время из оврага вылез человек в длинной рваной рубахе и босиком. За ним, спотыкаясь, выкарабкалась маленькая лохматая лошаденка цвета просяной соломы. Он, согнувшись, тянул ее толстой веревкой, перекинутой через плечо. За спиной у него болталась свернутая в комок изопревшая шубенка. К шубенке привязаны помятое ведёрко и синяя кружечка.

— Мужики! — испуганно крикнул Терешка Русаков. — А ведь это Ванятка Каленый!

— Неужели?!

— Он!

И опять шум пошел по улице. Девки бегут. Парни бегут. Старики. Ребятишки. Ванятка Каленый вернулся! Лошадь привел! Из Сибири! Да, говорят, маленькую, каких в Никольском нет и не было никогда!

Окружили Ивана, загородили дорогу. Он уже раскаивался, что явился среди бела дня. Надо бы ночи дожждаться в поле, в овраге. Ишь, что делают, пустобрехи!

— Это овца, а не лошадь! — кричит Терешка. — Фролович, обманули тебя, овцу вместо лошади подсунули. Как это ты не разглядел, а?! Веди обратно, наплюй им в глаза!

Федяня Жучков задохнулся от смеха, покраснел, как арбуз, слезы льются.

— Терешка... ну тя к шайтану! — выкрикивает Федяня сквозь смех тонким голосом и машет руками, словно отбивается от пчел. — Уморил! Совсем уморил... шут... бала-кирь! Да неужто... хи-хи... В Сибири... хи-хи... овцы такие?!

— Товарищи! — раздался вдруг сильный, гневный голос, и все сразу оглянулись и притихли.

— Филимонов! — испуганно шепнул Федяня Никанору Кучину, и оба они спрятались за чужие спины.

Богатые мужики не любили Филимонова и побаивались его. Он член волисполкома, он ездил в Саратов на губернский съезд Советов, и в газете «Саратовские известия» был его портрет, сделанный карандашом: художника привлекла колоритная фигура — бородатый крестьянин в лаптях и в шубе.

— Товарищи! — продолжал Филимонов. — Что за смех?! Что за балаган?!

И все, кто потешался над Иваном и его многострадальной лошадкой, опустили глаза и, смущенно покрякивая, стали расходиться.

...Ровно десять недель вел Иван лошадку. Сёла, города, деревни и степь, степь без конца. Три дня переползал через Уральские горы.

— Лягу, бывало, в поле, — рассказывал Иван после, вздыхая и улыбаясь, — пуцу ее на травку... Погляжу, погляжу... что я, говорю, делать-то с тобой буду, Саня, а? Какая ты работница? Жеребенок!.. Да. Две тыщи верст прошли мы с ней, всего повидали. И не покинули добрые люди! Не оставили! Нет! И у черемисов у каких-то ночевал, и башкирца встретил в горах в Уральских. Сижу, отдыхаю, а он едет верхом. Я поопасился сначала-то, как бы, думаю себе, не обидел. Нет! Не обидел! Улыбнулся даже, головой мне кивнул!

Шел Иван и все думал, как обрадуется Варвара. Хоть и маленькую лошадку, а все же завели. Истопит Варвара баню, пропарится Иван березовым веником, наденет чистые портки, чистую рубаху, будет сидеть за столом да рассказывать, как шел, что видел, о чем думал. И будет хорошо.

Филимонов увел его к себе и там осторожно, исподволь дал ему знать, что случилось тут.

— Уходите, уходите! — вполголоса говорил Филимонов, ласково, но настойчиво удаляя из избы набежавших любопытных баб. Очень уж им хотелось увидеть своими глазами, услышать своими ушами, как примет Иван известие о смерти Варвары, будет ли плакать. — Уходите! Товарищи, товарищи! Человеку не до вас!

Привел Иван ребятишек, а на другой день сделал дубовый крест, взвалил его на плечо и понес на кладбище. Дуняшка несла лопату. Она показала могилу матери. Черный бугорок земли уже начал обрастать, пыреем, словно всходы овса показались.

Иван вкопал крест, отошел в сторону, посмотрел, не криво ли поставил. Размахисто перекрестился, тряхнул тяжелым посконным рукавом, затем опустил на колени и припал лбом к могиле.

— Вечный покой, Варвара Митревна!

Подумал и добавил:

— Не дождалась ты меня!

И заплакал.

Дуняшка рвала цветы в отдалении, а Иван сидел возле могилки...

Белые сверкающие облака тихо проходили по синему июньскому небу над местом вечного успокоения, теплый ветер шумно катился по густой и высокой кладбищенской траве.

Ночью пролился сильный дождь с громом и молниями, и теперь пахло сырой землей и зацветающей рожью.

5

В избе у Ивана шумно. Вся родня собралась горе горевать. Чужое горе горевать легко. Чужую беду руками разведу. Чужое горе с луком съем, а свое с медом не проглочу.

Пришли сочувствовать, утешать, давать советы, ахать, охать, разводить руками. Что такое? Нет Ивану удачи в жизни — и шабаш! Мужик работающий, вино не пьет, табак не курит, в карты не играет, а вот поди ж ты! Беда за бедой! От одного удара не успеет опомниться — другой получи! Два года назад сгорел, потом лошадь пала, а теперь второй раз овдовел. А ведь недаром говорится, что лучше семь раз сгореть, чем один раз овдоветь.

Что такое? Видно, не зря болтают в народе, что на плохом месте поселился Иван. Жил, рассказывают старики, дав-

но когда-то на этом месте Василий Быков, колдун, и перед смертью своей зарыл он, будто бы, где-то на дворе осиновый кол, чтобы не было здесь никому удачи.

— Местами, местами поменяйся, Иван, с кем-нибудь!

— Господи, Катерина, чудная ты какая: да кто же пойдет на это место, какой дурак? Не местами, а кол надо искать, кол! Лопатой надо покопать хорошенько, найти, выкинуть в овраг, куда дохлых собак выбрасывают, а потом молебен на дворе отслужить, святой водой покропить, ладаном покурить!

Ночью Иван один сидел в избе и не зажигал огня. Дуняшка и Катя спали на полу.

В окошко виднелся кусок неба, посыпанный звездами, как ломоть хлеба крупной солью. За селом угасала полоска зари, и где-то далеко звонко, изо всех сил пели-кричали девки:

Сорвал он, как с розы, цветочек...

Сорвал, истоптал под ногой!

Иван вышел во двор. Экое запустение! И навозом не пахнет. Только лошадка и оживляет двор. Стоит возле телеги и хрукает накошенную траву.

— Ешь? — спросил Иван. — Ну... ешь, ешь, поправляйся! Завтра в телегу запрежем тебя, посмотрим, что из этого получится, как ты в упряжке-то пойдешь.

И ума не приложит Иван, что ему делать, с чего начинать. Был он в озимом поле, посмотрел свою рожь. Ничего, порадовалось его сердце, ровенькая ржичка. А три узеньких загона в яровом поле придется вспахать под пары и озимым засеять. Ни овса, ни проса у Ивана в этом году! Ловко!

На соседнем дворе за плетнем запела дверь на заржавленных петлях, и на крылечко вышел Матвей Грошев.

— Не спишь, Фролович?

— До сна ли мне, Матвей Фомич!



— Это верно. Труба твое дело.

«Да оно и твое-то не многим лучше! — подумал Иван. — Лошадь хромая, коровенка одно названье. Корова на дворе, а вода на столе. Тоже, как я погляжу, осиновый кол на дворе зарыт! И у многих, не только у нас с Фомичом! Везде кол!».

Матвей свернул папироску, высек огня из камешка.

— Начинать надо с хозяйки. Хозяйку подыскивай себе какою-нибудь.

Ах, как легко давать советы! Иван покачал плетень. Сухой плетень затрепал.

— Сватай Татьяну Куляндину! — сказал Матвей. Иван усмехнулся.

— Вон ты куда гнешь, Матвей Фомич! Татьяну Куляндину! Ты смеешься надо мной!

— А что? Ничего страшного нет.

— Да разве она пойдет за меня?!

— Сумей найти подход. Уговори. Умасли!

— Хо-хо!

— Эх, женщина-то славная! — дразнил Матвей. — Ты смотри: который год живет без мужика, а соблюдает себя!

— Соблюдает, а все же курносый Степан Зайцев похаживает к ней!

— Похаживать-то он похаживает, а только зря. Понапрасну, лысый, ходишь, понапрасну лапти рвешь!.. Разумная женщина, умеет сводить концы с концами. Коровку держит, хлеба пудов двадцать найдется у нее, если не больше. Опять же брат у нее богатый: Федор Федорыч Жучков! Он пособит тебе укрепиться, на ноги встать.

— Что зря говорить, Матвей Фомич! — вздохнул Иван. — Ломи дерево по себе.

Рано утром Иван запряг лошадку в телегу и повез на мельницу пуд ржи. Сам не сел, шел рядом с оглоблей. Лошаденка, никогда не ходившая в упряжке, с недоумением и страхом оглядывалась на телегу, то бросалась вперед жалкими и смешными прыжками, то останавливалась со-

всем и вся дрожала, не понимая, почему она не может убежать от ненавистной телеги.

На другой день Иван поехал пахать пары. Пары густо заросли таким высоким осотом, что лошаденка вся, с головой скрылась в нем. И кричал Иван до хрипоты, и кнутом порол ее, — бесполезно. Не тянет Санька соху. Разозлился Иван, рванул вожжи на себя изо всех сил, лошаденка упала, и сам он брякнулся в осот, в. полынь, вниз лицом и заплакал.

Поплакав, взял ведро и пошел к роднику за водой. А навстречу она, Татьяна Куляндина! Она ходила за ягодами в дубровку, кузовок спелой земляники несет. Вздрогнул Иван. Румяная, красивая, платок с цветами. Хотел завести какой-нибудь разговор, пошутить, но не хватило смелости, поклонился — и только.

А что, если попытаться счастья, посватать? Весь день думал он о Татьяне, и ночью не спалось, ходил в потемках по избе и шептал. Он готовил, он повторял большую пронзительную речь. Прежде всего Татьяна должна понять, что в бедности своей он не повинен.

— Или я лодырь, лежебока, Татьяна Федоровна? — страстно шептал он. И сверчок с шестка подтверждал, что Иван действительно не лодырь и не лежебока. — Нет! Никто этого про меня не скажет! С малых лет, со вьюности моей работал я по чужим людям, у купца Ашанина жил, и на всех угождал, все мною были довольны! Никакое дело не вырвется у меня из рук! Пахать, косить, молотить, опять же по плотницкой части, или печь сложить — любая работа подвластна мне! Что, плохой домик поставил я шельмецу Ваське Корягину? Или я тем... винишком зашибаю, пропилил? В рот не беру этой гадости, только разве случаем, раз в год, на свадьбе поднесут! Или в те... в карты проиграл? Не знаю, как их и в руки берут, с какого конца! Ну, одно одолело меня, напасти!

Рано утром обул он старенькие сапоги, почистил их, смазал дегтем, подпоясался веревочкой и, ни живой ни мертвый, пошел к Татьяне. Сватать.



Было воскресенье. Бухали в большой колокол. Родной брат Татьяны, Федор Федорович Жучков, шел в церковь. В синей суконной поддевке, в кожаном картузе, с широкой рыжей бородой, похожей на подсолнечник, он летел на колокольный звон, как шмель на цветок.

— С воскресным днем, Федор Федорыч! — крикнул Иван, сорвал с головы свои измятый картузишко и тряхнул волосами, — словом, поклонился от всей души будущему шурину. А Федяня что-то буркнул себе под нос и так прибавил шагу, словно Иван палкой замахнулся на него.

«И глядеть не хочет, толстоногий бездельник! — думал Иван, улыбаясь нехорошей улыбкой. — Прочь шарахнудся от меня, рыжий шельмец, вроде я зверь какой, а не человек!»

«Безлюдье каленое! — ворчал Федяня. — Глядеть тошно! Хоть бы по праздникам-то не попадался навстречу, во грех не вводил! Прости, Господи, чего бы и не сказал, да скажешь!»

А к Федяне двигалась уже другая неприятность: Павел Дадашкин в рваной соломенной шляпе. И веточку полыни воткнул в шляпу. Заложив руки за спину, шел прямо на Федяню, опустив голову и притворяясь, что не видит его, тихонько напевал что-то. Федяня уступил дорогу, свернул в сторону и обошел Дадашкина, как обходят заразное место. Получи, оборванец!

Но ничья от народного пота
Не разбухнет уж больше мошна!

напевал Дадашкин. И песня явно была адресована Федяне.

«И обличье-то страшное! — думал Федяня. — Если бы не эта власть... Выселить в Сибирь на каторгу!»

Татьяна Куляндина тоже собиралась к обедне, торопилась закончить домашние дела. Одно ставила в печь, другое выхватывала оттуда и, обжигая пальцы и бормоча «провалиться бы тебе тут!», бросала на стол.

Стукнула калитка.

— Господи помилуй! — напугалась Татьяна, взглянув в окошко. — Ванятка Каленый! Зачем это он?! Не денег ли просить?

— С воскресным днем, Федоровна! — громко сказал Иван, войдя в избу. Остановился у порога, помолился на образа, на зажженную лампадку.

— Милости просим! — удивленно ответила Татьяна.

Иван помолчал и, загадочно улыбаясь, спросил:

— К обеду?

— Да, к обеду собираюсь, не соберусь никак, делов уйма, хоть разорвись. Вот булавка провалилась куда-то, чтоб ей...

«Чтоб ей провалиться», — хотела сказать она, но так как булавка уже провалилась, то Татьяне на этом Пришлось оборвать свою речь. Видя, что гость мешкает, мнется, а ей надо уходить, она спросила:

— Ты что, Иван, по какому делу-то?

— По какому делу-то? — Он поднял к потолку глаза, улыбаясь. — Не знаю, как и говорить тебе, Федоровна.

— Говори, чего же стесняться-то, раз пришел.

Иван кашлянул, почесал в затылке и опять ничего не сказал. Наконец, набрался храбрости.

Решительно шагнул вперед, положил руку на стол и, в упор глядя на вдову, сказал громко, с выдохом:

— Свадебку не сыграем мы с тобой, Федоровна?

Огнем обожгло Ивана. Заколотилось сердце.словно в пропасть прыгнул. А у Татьяны даже в голове зазвенело. Она стояла боком к Ивану, повязывая шаль перед зеркалом.

«Да провалиться бы тебе тут! — думала она, не веря ушам своим. — Да не с ума ли он спятил? Да не Терешка ли, шут-балакирь, насоветовал ему для смеху?»

— Ну, Иван, мне идти надо!

Он вышел первым, она за ним.

— Что же ты мне ответа никакого не дала, Федоровна? — спросил он уже на дворе.

— Да что ты, Иван, в уме ли? Что ты, что ты, что ты!



— Чего так больно напугалась?

— Ничего я не напугалась, Иван, а просто ни к чему эти разговоры, вот и все!

— Хы! Так, значит, одна и решила век вековать?

— Так одна и решила век вековать! — ответила она уже резко, с раздражением.

Помолчали, остановившись у ворот.

— Ну что ж? — сказал он. — В таком случае прошу прощенья, Татьяна Федоровна! Плохого я тебе ничего не сказал... не оскорбил... не обидел...

— Да нет, я ничего не говорю.

Три недели ходил Иван к Татьяне и становился все смелей, все красноречивей. Он рассказывал ей свою горькую жизнь — Татьяна не соглашалась. Он заплакал и бухнулся ей в ноги, — спасай! — на Татьяну и это не подействовало. Тогда он крикнул, побелев:

— И тебя решу, и себя!

Думала, думала Татьяна и, в конце концов, пожалела его. Дала свое согласие.

Гул изумления прошел по селу. Татьяна Куляндина выходит за Ванятку Каленого!

— Не жилось ей одной-то!

— Жила как кукла!

— Не сидела голодная — так насидится!

— Не трясла лохмотьями — так натрясется!

Федяня Жучков, братец ее, ушам своим не поверил. Страшно разгневанный прибежал он к сестре.

— Что это за болтовня идет, сестричка?

— Вот такая и болтовня. Надоело мне по чужим людям с докукой ходить!

— С какой докукой?

— А со всякой. Землю пахать — ищи пахаря, дров привезти — ищи лошадь.

— Так неужели ты лучше-то никого не нашла?!

— А для меня и этот хорош. Каковы сами, таковы и сани.

Федяня принимал за оскорбление, что ненавистный Ванятка Каленый становится ему родственником.

— Жениха нашла! Ванятку Каленого!

— Прозвать всякого можно. Он такой же человек, как и все!

— Будет болтать! — вскочил Федяня с лавки, затряс широкой рыжей бородищей и даже ногами затопал. — Как и все! Безлюдье проклятое! Век свой треплется, как осинный лист! Жалко, что Вася Самылин не овдовел, а то за него пошла бы!

Федяня хлопнул дверью, затопал с крыльца, задыхаясь от обиды и злобы, и на свадьбу не пошел к сестре, не захотел сидеть за одним столом с Ваняткой, словно боялся заразиться бедностью. Долго не разговаривал Жучков с Татьяной, а потом одумался, помирился и сказал своей супруге Степаниде Марковне так:

— Пес с ними. Не наш воз, не нам везти. Ванятка-то... я и забыл совсем, из ума вон... он топориком может в руках» держать. Позову когда... сарай починить... конюшню перебраться надо, нижние венцы сгнили.

— Конюшню, баню — подхватила Степанида высоким визгливым голосом, размешивая в чугушке краску и погружая в нее мотушку шерстяных ниток. Она каждый день красила пряжу или холсты, и на лице у нее всегда были разноцветные пятна, и в каше попадалась краска. — Мало ли что, мало ли что? Это не плохо — свой плотник! Хотя и не ахти какой, плотник-лохмотник, ну, а все же. Главное — свой, чужого нанимать не надо!

Два дня Татьяна с Дуняшкой приводили в порядок запущенную избу, мыли, скоблили, подмазывали, подбеливали, — и вот словно другое солнышко хлынуло в окошки. На столе шумит медный начищенный самовар. Татьяна принарядила девчонок, дала Ивану новую красную рубашу — он даже зажмурился, когда вышел во двор, на солнце, полымем полыхало от рубахи, и лицо зарумянилось. Вытянув руки, он, как маленький, глядел на рукава, на грудь. Вот это жизнь!

Все заговорили, что Иван теперь на ноги встанет, свет увидит, жителем будет! Повезло человеку! Шурин Федяня поможет ему! Свой своему поневоле друг! И лошадка поправляется у Ивана, подрастает, и коровка на дворе — Татьяна привела, и молоко на столе.

Поехали втроем жать рожь серпами. Жнут, а люди, проходя по дороге, кричат:

— Бог — помочь, Иван Фролович!

Ага! Вот вам и Ванятка Каленый! Иваном Фроловичем стал!..

Одно беспокоило Ивана: как он будет снопы возить?

— Ну, Саня... погуляла, отдохнула... надо все же совесть иметь! Хоть по десятку снопов, а давай возить!

Какова же была его радость, когда лошадка подняла не десяток, а много больше. Иван не мог сидеть за столом во время обеда, хлебнет ложку щей и опять ходит по избе с куском в руке и рассказывает, все рассказывает Татьяне, как он ехал, какая цепкая лошаденка-то попалась, оказывается!

— Так берется за работу, так берется, просто и-и-и!

— Она в силу входит! — сказала Татьяна.

— Обязательно входит! Она... Пстой, она еще покажет себя!

Поля растянулись верст на семь, самые дальние загоны за чугункой, то есть по ту сторону железной дороги, и вот оттуда-то возить снопы стало трудней. На пути Озерная гора, подъем крутой. Храпит лошаденка, согнулась, шатается, как пьяная, ножонки заплетаются.

— Ну-ну-ну! — поощряет Иван охрипшим голосом и сам. помогает из всех сил, ухватился за тяж и вертит, вертит непрерывно кнутом. — Ну, матушка... господь с тобой... Ого-го-го... еще, еще малость... ещ...

Нет! Встала! Все сделала, что могла! Иван, красный, мокрый, опрометью бросился в сторону, схватил камень и подсунул под заднее колесо, а то телега начала бы скатываться назад, увлекая за собой лошаденку. Нельзя те-

рять ни одного вершка дороги, взятой с таким трудом! Подолом рубахи размазал грязь и пот на лице.

От сухой дороги несет жаром, как от сильно натопленной печки. Иван прислонился спиной к возу, к колючим снопам. Колотится сердце. Дрожат руки и ноги. Если ему дать сейчас ковшик воды, не донесет до рта, всю расплещет.

— Ух ты! Отдохни, Саня!

Ходит вокруг нее, гладит, утешает, поправляет хомут, чересседельник. Страшно глядеть, как дрожат ее слабенькие мышцы. Ох, не вывезет! Еще продвинулись шага на три — и точка. Встала Санька!

Придется половину снопов снять с телеги, с остальными выбраться наверх, сложить их там и вернуться за этими. Длинная история, да и снопы обмолотишь, перекладывая их столько раз туда да сюда. Если б помог кто — стоп! Никита Купцов осторожно спускается с горы на пустой телеге. Конь у ног — как у Ильи Муромца. Спина, шея, грудь, грива, хвост, ноги... глаз не оторвешь! Остановился бы, запряг своего вороного в Иванову телегу, вывез на верх горы, на ровное место! Долго ли?

— Микит Петрович! Не будешь ли настолько добрым, не войдешь ли в положение?!

Нет, не вошел Никита Петрович в положение, не хочет он быть настолько добрым, чтобы останавливаться, терять время из-за Ванятки Каленого. Сидит он в телеге, как пень, и головы не повернул, притворился, что не видит и не слышит. У Ивана пересохло в горле.

— Аспид, а не человек! — жаловался он после. — Настоящий истукан! И разговаривать не хочет!

Матвей Грошев, сосед — свой брат, поднимается в гору с неполным возом на кривоногом опоенном мерине, помогает ему, ухватился за тяж, и кричит, и машет кнутом. Поравнявшись с Иваном, останавливается и подкладывает камень под колесо.

Двумя лошадьми вытягивают в гору сначала один воз, потом другой...

Ночи сухие, светлые, и от зари до зари гремят в поле пустые телеги, тяжело скрипят и охают нагруженные снопами. Мужики не спят в это время, а если спят, то сидя в телеге, с вожжами в руках. Некогда спать, надо вывезти снопы, пока сухо. Кроме того, снопы могут украсть.

Приехал Иван на самый дальний загон — и обмер, и глазам не верит: снопов нет! Быстро, быстро, широкими шагами пошел он по загону, сам не зная зачем, повернулся, оглянулся.. Нет! Чисто! Хоть шаром покати! Обидел какой-то бездельник!

— Все, Саня! Легко нам ехать отсюда! Не будем мучаться!..

А через год, во время жнитва, Иван сгорел — это уже в третий раз после того, как он отделился от отца и зажил своим хозяйством.

— Где беда ни ходит, а нас не минует! — вздыхал он.

В те годы часто бывали пожары. Просто прославилось этим Никольское. Даже в соседних селах и деревнях — в Торлакове, Поселках, Марьевке, Липовке, Кряжине говорили с насмешкой:

— Ну, Никольское опять горит!

Бывало до двенадцати пожаров в лето, а в сушь да в ветер в один раз сгорало сто, а то и больше дворов. Кажется, мужики только тем и занимались, что горели, строились чтобы вскоре снова сгореть, и когда только успевали пахать, сеять, косить, молотить, играть свадьбы?

Вот знойный летний день, все в поле жнут серпами рожь, и вдруг...

— Бом, бом, бом! — зловеще забухали в большой колокол.

И сразу поле наполнилось криком, визгом, плачем, запрягают лошадей и мчатся в село, а там поднимается густой черный дым, переплетенный красным огнем.

— Мы горим! Иван! Погоняй! Наш сарай занялся!

Что творится в селе! Прямо по огородам, по огурцам скачут с бочками к реке за водой. Старуха плачет в голос,

с причитаниями, сидя среди улицы в окружении узлов, икон, ухватов и чугунков. Прискакал верхом на красивой лошади начальник волостной милиции. Прибежал председатель волисполкома.

Как боялись пожаров! Две курицы дерутся между собой — к пожару, их немедленно надо разогнать! Курица петухом запела или пытается запеть — башку ей отрубить! Тараканы бегут через дорогу — это они уходят из тех изб, которым гореть. Кукушка залетела в село — к пожару! Над какими дворами пролетит — тем и гореть!

Летом двадцать третьего года, в воскресенье, мужики сидели на травке, курили, разговаривали, смеялись, и вдруг видят: кукушка залетела в село! Вскочили мужики, закричали, вооружились длинными шестами и преграждают кукушке путь, а она, проклятая, не поперек села летит, а вдоль над сараями, над избами!

Напугали, выгнали в поле.

6

Осень.

На дворе у Федяни Жучкова коричневое болото. Навозная жижа, смешанная с дождевой водой, затопила весь двор. Кое-где островками выступает навоз, наступишь на него — он поддается под ногой, пищит, хлюпает, пускает пузыри.

От крыльца до конюшни положены доски, но они всплыли. А дождь льет и льет, то затихая немного, то снова усиливаясь. Всякий черепок, брошенный на дворе, наполнился водой.

Федяня, в сапогах, в кожаном картузе, в длинном пиджаке, сшитом из толстого домотканого сукна, стоит возле конюшни, придерживает рукою жердь, воткнутую комлем в навоз, а Иван наверху, на потолке стучит топором, ставит стропила. Федяня помогает ему, подает материал.

«Копатца, копатца! — думает Федяня с раздражением. — Позовешь — жизни не рад будешь! Словно город строит! Долго ли четверо стропил поставить?»

— Скоро, что ли, ты там? — спрашивает Федяня, не сдержав себя.

Иван не отвечает.

«Да, скоро! — думает он. — Ты залез бы сюда да пособи- бил, чем там стоять-то! Бездельник толстоногий! Запустил до кой поры! Не мог плотников нанять загодя! Все на дар- мовщинку норовишь!»

— Ох, господи, боже ты мой! — вздыхает Федяня, и приставив жердь к стене, пробирается по воде и навозу в избу.

— Заступница... усердная! — громко, визгливо поет Степанида, крутя босой ногой колесо самопряхи и дергая куделю из гребня. За пряжей она всегда поет божественное, поглядывает на иконы, и ей кажется, что святые слушают ее и весьма одобряют. За это бог и дает Жучковым, а Ванят- ке Каленому за что даст, если он ни одной молитвы не зна- ет? Она без платка, лицо красное, вареное, в избе жарко, душно, пахнет мясными щами и горячим ржаным хлебом.

— Давай закусить чего-нибудь! — говорит Федяня го- лосом человека измученного, почти заболевшего.

Степанида ставит на угол стола маленький, величи- ную с кулак, глиняный горшочек с растопленным коровьим маслом и подает на тарелке оладьи размером с бутылочное донышко. Федяня макает оладышек в горячее, душистое масло, опускает его в рот, подняв для этой цели лицо к по- толку, и вытирает об голову замасленные пальцы.

— Копатца, копатца! — быстро шлепает он намасле- нными губами. — Только за смертью посылать! Нанять бы Гараньку Портянкина, да больно уж досадно: чужого на- нимай, деньги плати, а свой плотник будет бездельничать! Горе берет!

— Какой он плотник, какой он плотник! — кричит Сте- панида. — Лохмотник! Я таких плотников из глины наде- лаю! У него руки-то не тем концом вставлены!

Иван, между тем, поднял и устанавливает стропила, преодолевая натиск ветра. Одежда его насквозь пробита дождем, да и обедать пора, давно пора!

Федяня спускается с крыльца.

«Ш-шельмец! — шепчет Иван. — Который раз выходит из избы и все губы вытирает, а человека обедать не зовет! Бессовестный, больше никаких! Он бы так подумал: ах-де, позвал я человека-то работать, надо покормить его или нет?!»

— Кончил, Фролович? — ласково, заискивающим голоском спрашивает Жучков.

Иван молчит.

— Ну, поставь эти стропила да слезай обедать! Сегодня не успеем — завтра доделаем! У бога дней много!

Иван входит в избу, снимает мокрый пиджак в мокрых заплатках, моет руки из глиняного ракушечника, висящего на двух веревочках над лоханью, повернувшись к образам, крестится так размашисто, что вокруг него ветер ходит.

«Бога-то напугает! — думает Федяня с отвращением. — Молится — словно топором машет, дрова рубит! Прости ты меня, царь небесный, владыка живота моего, чего бы и не сказал, да скажешь!»

Степанида подает на стол каравай ржаного хлеба и большую деревянную чашку с горячими, как огонь, и страшно жирными мясными щами, словно одно сало варила.

«Пищу-то какую жрет, толстоногий бездельник! — думает Иван. — Будто на пасху! Что ему не краснеть-то, шельмецу: у него каждый день пасха!»

— Ешь, Фролович! — охает Федяня. — Закусывай, подкрепляйся! Я не хочу что-то. Полежу немножко.

Вошла дочка Жучковых, Настенка.

«Тоже откормили, как на убой! — подумал Иван. — А хорошего нет в ней ни кляпа, вся морда в угрях!»

Он засучил рукава и вооружился большой деревянной ложкой с облупившейся краской.

— Едок, едок! — кричала Степанида на другой день возле колодца. — Полкаравая смахнет и глазом не моргнет! Оттого он и бедный, что сам себя не прокормит! Нам с Федорычем да с Настенкой в три дня не съесть того, что он в один раз шархнет, сердешный!

Как-то вечером Иван стоял у себя дома возле печки, сложив на груди длинные руки, глядел в потолок и говорил:

— Так, так... Значит, просватал Федяня свою дочку, богатого жениха нашел! Теперь Федор Федорыч Жучков да тот... Степан Степаныч Корягин сватами будут! Родня! Ах, черт те! Богатство к богатству так и льнет!

Татьяна пришивала заплатку к его рубаше и тяжело вздыхала.

— Позовет, что ли, на свадьбу-то нас с тобой или нет? — продолжал Иван.

Татьяна хорошо знала, что на свадьбу их позовут, но в этот час ей почему-то хотелось быть обиженной, несчастной, и она сказала:

— А кто его знает? Может, и не позовет.

В день свадьбы, рано утром, вошел Федяня в праздничной суконной поддевке, с намасленными причесанными волосами, с пышно расчесанной бородой. В избе запахло праздником и богатством.

— Приглашаю тебя, дорогой сродничек Иван Фролович, и тебя, дорогая сестричка Татьяна Федоровна, на пир честной, прошу не судить строго, чем богат, тем и рад! — проговорил Федяня скромно, печальным голосом, со вздохом, низко поклонился и вышел.

— Собирайся! — сразу повеселела Татьяна и внесла из амбарчика поддевку, оставшуюся от первого мужа.

Поддевка не суконная, из простой материи, к тому же сильно поношенная, но когда она облегла плечи Ивана, он почувствовал себя не менее как маслобойщиком и строго посмотрел в зеркало. Расчесал бороду, смазал голову деревянным маслом.

Супруги торжественно двинулись по улице, и многие сельчане, занятые будничными делами, возившиеся с навозом да с соломой, долго глядели им вслед.

— Ванятка-то, Ванятка-то! — сосед говорил соседу. — Смотри-ка, смотри-ка! Поддевку-то какую нажил!

— Куда к чертям! К Ванятке теперь на пьяной козе не подъедешь!

Иван держал под мышкой каравай хлеба, завернутый в чистый белый платок, так полагалось по неписаному закону. За этот каравай при входе в дом подавали стакан вина прямо у порога, не дав гостю и шагу сделать от двери. Прийти на свадьбу без каравая было бы в высшей степени неприлично.

Молодых обвенчали. Никому не запрещалось войти в церковь и посмотреть, как венчают, и особенно любили это зрелище девки, и каждая глядела и думала о том, что и она скоро вот так же будет стоять с венцом на голове, и ее вместе с женихом священник станет водить вокруг аналая и петь «Исайя, ликуй», и хорошо бы, если б, как теперь, пел красиво, по нотам церковный хор, но это по карману только таким богатым людям, как Жучков да Корягин.

Приехали из церкви на двадцати подводах с колокольчиками, погремужками, в хвосты и гривы лошадей вплетены разноцветные ленты. Гости сели за стол. Начался пир. Желающих посмотреть хоть отбавляй — облепили окошки, толпились на дворе, лезли в сенки, слышался говор гостей, звяканье посуды, каждому хотелось вдохнуть в себя густой запах мясных щей, бьющий в открытую дверь, — и на дворе пахло жирными мясными щами с лавровым листом.

Но вот от Корягиных все пошли к Жучковым, бабы отдельно, мужики отдельно, те со своими песнями, эти со своими. Бабы пели:

Пред бурной ночи ветер дует,
Срывался месяц в облаках.
На ту зеленеиьку могилку
Пришла красotka вся в слезах.

А мужики пели:

Звенит звонок насчет поверки.
Ланцов задумал убежать.



И обе песни протяжные, на один мотив.

Б а б ы:

Она взошла на край могилки,
Главой на памятник легла.

М у ж и к и:

По чердаку он долго шлялся,
Себе веревочку искал.

Б а б ы:

Восстань, восстань, мой разлюбезный,
Мне стало скушно без тебя!

М у ж и к и:

Нашел веревку, стал спускаться
На тот тюремный большой двор.

— Ух, — вскрикивал Иван, потому что песни не знал, а принять участие надо как-то, он выпил столько стаканчиков самогонки, сколько поднесли за столом, а поднесли немало. — Ух!

Ему захотелось порадоваться, на время забыть все, — и что изба, вновь построенная после пожара, пока еще стоит без крыши, и что лошаденка такая плохая, и что хлеба осталось совсем мало, до пасхи не хватит, но теперь... неужели шурин Федяня не выручит его! А вот еще новый родственник явился Степан Степаныч Корягин, у которого и в амбаре хлеба полно, и на гумне копны необмолоченной ржи стоят уже два года!

Но в дому у Федяни неожиданно, негаданно Ивана обидели, и крепко. Степан Степаныч Корягин чересчур хватил самогонки и заорал:

— Ванятка! Ваша бедняцкая власть пишет в бумагах, что мироед Корягин лишен голоса.

— Не могу знать, Степан Степаныч, — сказал Иван.

— А голос у меня на месте! — продолжал Корягин. — Вот послушай, какой у меня голос!

Тут Корягин встал, поднял руки к потолку и рявкнул:
— Каленный чееееерт!

Ивана страшно обижало это прозвище, а еще больше производные от него — Окалина и Окалыш.

В лампе вздрогнул огонь. Особенно большое удовольствие доставил Корягин Федяне. Федяня смеялся до слез, до изнеможения.

— Беда с тобой, сваток! — выкрикивал он сквозь смех тонким голосом. — Тебе соборным дьяконом можно быть. Гаркнешь «Многая лета» — паникадило погаснет!

— Над бедным человеком смеяться нельзя! — заступился за Ивана Терешка Русаков. — Степан Степаныч! Не обижай Ванятку! Про бедных песни хорошие поют! Грустные! Вот послушай.

Терешка запел, налил стакан самогонки и, не переставая петь, понес его Ивану.

Да не твою ль, Окалыш, хату
Ветер пошатнул?
С крыши старую солому
Всю к чертям раздул? —

пел Терешка, сделав плачущее лицо, и подавал Ивану самогон.

Все смеялись.

Иван вскочил, размахнулся и ударил кулаком по стакану. Самогон брызнул Терешке в лицо. Стакан, перевернувшись в воздухе, ударился о светлую и широкую, как луна, лысину старика Дакина. Поднялся неопикуемый шум. Гулянка загалдела, задвигалась.

— Что за надсмешки?! — взвизгнул Иван.

Весь дрожа, побелев, он надевал поддевку и никак не мог попасть в рукава.

Для этого призвали меня?! Зубы поскалить? Богачи собрались? Сплататоры?!

Кто-то повернул Фроловича лицом к двери, кто-то толкнул его в спину, и он, перелетев порог, как на крыльях,

шлепнулся в грязь. Дверь захлопнули, Иван вскочил, подбежал к окошку, хотел грохнуть кулаками, но вовремя опомнился и нырнул в густую тьму осенней деревенской ночи.

Тяжелый ветер глухо шумел над мокрыми соломенными и тесовыми крышами, а вдали, за рекой, во тьме, гудел голый лес...

Иван торопился домой. Он поругается с Татьяной, потешит свое сердце. Она виновата. Она завела его на эту свадьбу.

А Татьяна шла домой и плакала. Грязь чмокала под ногами, засасывая сапоги. Да уж лучше бы не ходить на эту свадьбу. Вот теперь с Федькой поссорились. Как Татьяна пойдет к нему просить хлеба займы?..

— Отопри! — плачущим голосом крикнула она Ивану, подергав дверь.

— Не отопру. Лучше не стучи!

— А ты будет дурачиться-то! Чай, холодно. Не весна. Не лето.

— Сказал, не отопру, значит, не. отопру. У меня слово твердо!

— Чего ты на меня разозлился?

— Пес пса узнает по лапке!

— Как?

— Так. С луком проехали!

Долго они вели такую беседу через дверь. Наконец, Иван снял крючок. Помирились, направив обоюдное негодование против Федяни. Зачем он позволил своим друзьям смеяться над Иваном? Разве так делают?

— Нехорошо, нехорошо сделал, — говорила Татьяна. — Я скажу ему, когда проспится.

— Обязательно скажи. Может, стыдненько будет ему сколько-нибудь или совесть у него калмык на горбу унес?

Татьяна сняла праздничный сарафан, кофту и полезла на печь.

— Охо-хо! Погуляли на свадьбке. Повеселились. Век не забыть!

А Иван долго еще сидел в потемках на лавке возле окошка и что-то шептал. На церкви пробили два часа. Погода, между тем, резко переменялась, подул подмороженный ветер, стекло дрожало в полусгнившей раме, звякая и всхлипывая. В избе стало холодно. Хлестнуло по окошкам, как соль, снегом. Петух запел в сарае — и вдруг заглох, оборвав песню, словно его ветром сшибло с насеста.

— Ооооо... уууу! — доносилось издалека пение пьяных, и казалось, что это гудит ветер.

7

Окаменели кочки, до дна вымерзли лужи, повалил снег, завывала первая метель, и вместе с зимой новая беда заглянула во двор к Ивану: лошадеңку угораздило где-то заразиться чесоткой. Терлась она шеей, хвостом и боками о сухой плетень, оставляя на нем волосы, хвостикко совсем поредел, шея облезла, оголенная кожа растрескалась до крови. Мазал ее Иван и соленым дегтем, и карболкой, толку нет, только и лошадка, и весь двор провоняли этими лекарствами. К весне она настолько исхудала, что пахать на ней... и не рассчитывай!

— Как хочешь теперь! — сказала Татьяна. — Корову продавать на лошадь я тебе не дам! Не думай даже!

— А я насчет коровы и не думаю ничего! — сказал Иван с обидой.

А обиделся он на то, что она угадала его мысли. Он думал продать корову и купить хорошую лошадку, а Саньку, хотя и жалко ее, сбить татарам на мясо, на махан. Живут люди и без коровы. Молоко Ивану совсем не нужно. Он отпашет ножом огромный ломтище от ржаного каравая, поставит перед собой кружку холодной воды, посолит хлеб крупной серой солью, засучит до локтей рукава и поест за милую душу.

— А я насчет коровы и не думаю, — повторил он, — и даже в мечтах не держу.

— Вот, вот! И не думай, и даже в мечтах не держи! Не послушала я добрых людей, связалась с тобой, да уж

и сама не рада. С тобой, я гляжу, до того достукаешься, что с сумой по миру пойдешь, подайте милостинку христа ради!

Ивану такие слова — нож в сердце!

— Что же я теперь поделаю?! — вскочил он и забегал по избе и закричал звонко, нараспев. — Или я пропил? Или в те... в карты проиграл?!

— А! — с досадой махнула рукой Татьяна. — Слыхала я от тебя эту песню! Другой и пропьет, и проиграет, а все лучше тебя живет!

— Тьфу! — плюнул Иван и выбежал на двор. Лошаденка, чуть живая, стояла среди двора, растопырив ноги, словно подпертая кольями со всех сторон.

— Что будем делать-то мать? — сказал он вечером, помирившись с Татьяной. — Иди к брату! Добрые люди пахнут, наша земля травой зарастает, все изболело во мне, сердце-то, наверное, черней грязи!

— А зачем я к брату пойду? Упреки да попреки слушать от его премудрой Степанидушки? Не пойду я, иди сам!

Однако пошла.

— Выручай, Федька!

— Вот видишь, вот видишь! — закричала Степанида. — Выручай, Федька, а в жнитво поработали у Федьки-то два дня и смотались!

— Ох, Степанида, чудная ты какая! Потому и смотались, что у нас своя рожь не сжата была, осыпаться начала!

— Вот то-то: своя! Много ли там своей-то, кот наплакал!

— Ну что ж? — вздохнул Федяня, подумав. — Пускай пашет на моих лошадях, и свою пашню, и мою. Что с вами поделаешь? Хоть и поворчишь порой, а потом опять жалко. Пусть пашет! И я с ним буду ездить в поле.

...Холодный, пасмурный день ранней весны. Седые тучи тяжело тащатся над землей, ветер свистит в прошлогодней сухой полыни. Иван идет за двухлемешным плугом, к лаптям прилипает сырой чернозем и гнилая трава. И та-

кие же серые и тяжелые, как тучи, проходят в голове думы. Что делать? Иные уезжают из Никольского в Сибирь в поисках лучшей жизни. А не махнуть ли Ивану туда? Да, легко сказать: махнуть! А с чем махнешь? Земли там много, а на чем пахать-то ее!

Жаворонки поют над Иваном, над черными пластами свежевспаханной земли, скворцы да грачи идут бороздой... А Федяня любил полежать под телегой. Хорошо. Уютно. Ворона прошумит крыльями, сядет на лагун с водой, покосится, нет ли в телеге сумочки с хлебом, каркнет к ненастью и убирается прочь, и так нескладно машет крыльями, словно не сама летит, а ветер уносит ее, как портянку.

Федяня полежит, полежит, подумает о своих делах, пошепчет молитвы, вспомнит о Христе, как его распинали, гвозди в ладони вбивали...

— Больно-то, больно-то как было! — поохает Федяня и даже поплачет, и уверен при этом, что господь видит его слезы и слышит его слова.

Затем Федяня достанет из мешка сдобную лепешку да печеные яички, пожует, скорлупки зароет в землю, чтобы Ванятка не увидел. Ванятке полагается в поле ржаной хлеб да вода.

«Не яйцами же его кормить! Яиц он два десятка смахнет и сыт не будет».

Поест Федяня и снова ложится, сладко спит, убаюканный пением жаворонков и свистом ветра, хлопаньем полога по колесу телеги. Проснется, а полдесятины уже вспахано, лошади жуют овес из корытца, звякая удилами, Ванятка сидит на оглобле и с громадным удовольствием ест ломоть хлеба, круто посыпанный солью.

— Сейчас боронить будем? — ласковенько, как провинившийся, спрашивает Федяня. Иван хочет ответить, но не может: рот наполнен хлебом.

«Подавился сердешный! — с отвращением думает Федяня. — Жрать-то какой здоровый!»

Однажды Федяня сказал:

— Фролович, у тебя старшей-то дочке... как ее, Дуньке что ли? Годочков шестнадцать есть? Что ж она... не при деле. Пускай у нас живет, свиней кормит, коров доит. На сарафанишки, на кофтенки заработает. А если будет старательная, послушная, мы ее, может быть, к домку пристроим. У Степанидиной сестры, у Анисьи-то, парень растет... чем не жених? Живут хорошо, своя маслобойка, скотины полон двор.

— Это парень-то... Кузьмы Кузьмича Сорокина наследник? — почтительно спросил Иван и, получив утвердительный ответ, задумался. Неплохо бы породниться с Кузьмой Кузьмичом Сорокиным! Сорокин... житель!

8

Не получилось так, как хотелось Ивану. Прожив в работницах у Жучковых два года, Дуняшка по секрету сказала мачехе Татьяне, что выйдет замуж за Трошку Лаврушкина. Татьяна напугалась.

— Это за пастуха-то?! Ты с ума сошла, Дуня!

— Ой нет, мам! Ты его не знаешь! Ты ни разу не разговаривала с ним, а ты послушала бы его речи! Он такой разумный, развитой!

— Ну, хорошо, развитой, а где вы жить будете? У Трошки не было ни отца, ни матери, ни избы, пас он коров, кормили его поочередно, сегодня в одном дому, завтра в другом, а жил у тетки, полунищей старухи Макшанихи.

— А мы в Сибирь уедем!— сказала Дуня. — Свадьбу справим и уедем.

— А в Сибири кто вас ждет? Кому вы там нужны? Поедете в Сибирь мохрами трясти, господи прости!

— Так у него же там брат двоюродный, Захар, при станции живет, станция Болотная, кондуктором ездит на товарных поездах. Пишет, что живет хорошо, велит приезжать. Трошка говорит: пока молодые, нечего сидеть на одном месте, надо, говорит, счастье искать.

— Ох, ох! — покачала головой Татьяна. — Счастье искать! Кто его потерял для нас?

Иван ничего не знал о сердечных делах дочери, и она просила мачеху ничего пока не говорить отцу: он, конечно, не одобрит ее решения, он все думает породниться с богатыми и с их помощью «встать на ноги».

А Степанида Жучкова твердо решила женить на Дуняшке своего племянника Митьку Сорокина. Невесту из богатой семьи трудно подыскать Митьке, парень, надо прямо говорить, с дефектами: глухой, как пень, а нос словно ватой заткнут и оттого, видно, вместо «молоко» у Митьки получается «болоко», а вместо «дурак» выходит «турак». И приходится подыскивать невесту из бедных. Бедная, рассуждали родители и тетка Степанида, не посмотрит на его недостатки, лишь бы попасть в богатый дом, быть сытой, обутой и одетой.

— Иди-ка сюда, Кузьма... и ты, Аниска! — сказала Степанида, явившись к ним. — Садитесь и слушайте, что я вам скажу!

Рассказала, расхвалила Дуняшку.

— Девчонка — золото, чистое золото, ангел, смиренная, послушная, работающая! Два года жила она у нас, два года присматривалась я к ней! Такая уважительная! И красивая... краля, просто краля! Лучше и не найти. Ну, один недостаток: бедная!

— На это я не посмотрю! — сказал Кузьма, мужичок маленький, с черной курчавой бородкой, с загнутым кверху носом — на нос можно было повесить, как на крючок, котелок или чайник, лишь бы Кузьма стоял прямо, не наклоняясь. А хвастунишка! Все: я! Да я! Да у меня! — Я не посмотрю на бедность, — повторил он, закурив и потонув в синем дыму. — Одену... как мадаму! Хо! Я? У меня? В золоте будет ходить!

Он покрутил косматой головой и крепко зажмурился, не в силах выразить словами, что он, да что у него, и потряс кулаком,



— Десять пудов хлеба даю Ванятке Каленому! Я? У меня?!

— Конечно, конечно, конечно! — затараторила Степанида. — Дело сделано, сделано, сделано! Так и считайте! Десять пудов! Да Ванятка Каленый на два аршина подпрыгнет от радости, об потолок убьется до смерти! Кусать-то нечего у них, вчера только Татьяна была у нас, последний пуд смололи!

Дело было в конце зимы, перед масленицей, и Фролович действительно смолол — не последний пуд, Степанида несколько преувеличила, а последний мешок, и десять пудов хлеба теперь Ивану как нельзя более кстати. Он не подпрыгнул от радости на два аршина, не убился об потолок, а все же просиял, глаза засветились, он стал ходить по избе, подкручивая усы. Десять пудов! Неплохо, неплохо! И Дуняшка к домку пристроится, никакой нужды не увидит там. Парень-то, правда, незавидный, ну да ведь, не даром же говорится, с лица не воду пить, мордой не печати ставить!

— Сегодня приедут сваты! — сказала ж Степанида. — Вот так-то, Фролович!

Дуняшки не было дома. Она ничего не знала.

Сваты приехали на трех подводах, уже пьяненькие. Изба сразу наполнилась говором, топотом. Первым вошел сам Кузьма в непомерно широкой длинной поддевке, без шапки — шапка осталась в санях, словно ей было поручено охранять мешок ржи, оставшийся там же. Кузьма вошел с бутылкой самогона в руке. Он пел и сладко шурился. За ним вошла, повесив на руку шаль с кистями, его супруга Анисья, похожая на Степаниду, с таким же длинным и красным лицом. За ними ввалилась их родня, взявшись под руки или обнявшись, тоже с песнями, а двое торжественно, как икону, несли бочонок с самогоном. Все предсвадебные и свадебные расходы Кузьма брал на себя и желал, чтобы об этом знало все село.

Татьяна прибавила огня в лампе, принесла из погреба огурцов и квашеной капусты. Гости не уместились за сто-

лом, многие толклись на ногах. Иван, в новых лаптях, сложив на груди руки, улыбался, хотя этот пьяный ералаш не очень-то нравился ему. Приходится потерпеть.

Не переставая петь о том, что во субботу, день ненастный, нельзя в поле работать, Кузьма поднес Ивану чайную чашку с самогоном, потом налил себе, чокнулись и выпили, после чего обнялись и поцеловались, соткнувшись бо-
родами.

— На веки веков! — кричал Кузьма. — Сваток! Ты знаешь меня? Кузятку Сорокина? У коего нос крючком? За этот нос прозвали меня Дудочкой! Дудочка? Хо! Я? Сваток? Хотя у Кузятки нос и крючком, дудочкой, но тут! — ткнул он пальцем в свой наморщенный лобик. — Тут у меня... Хо-хо! Ух! — зажмурился и покрутил головой. — Значит, по рукам?

Ударили по рукам.

— Ничего не имею против! — сказал Иван.

— Свадьба когда?

— Я не знаю. Дело ваше.

— Фролович! Свадьбу справим... ух! С трезвоном! Самогону... две кадушки опары поставил!

Татьяна хорошо знала, что никакой свадьбы не будет. Знала также, что в виде задатка Кузьма привез мешок ржи. Пока они тут пели да плясали, она выскочила из избы, волоком по снегу утащила мешок в сарай и завалила хворостом, а вернувшись в избу, пошла плясать с Кузьмой.

А я свата, я Кузьму
За белу рученьку возьму!

— Мужики! — сказала она потом. — Иван! Сват Кузьма! Мешок с хлебом на улице в санях бросили — идите приберите его, как бы не утащил кто! Люди-то всякие есть, долго ли до греха?

Иван и сват Кузьма отправились за мешком... и через минуту вернулись крайне расстроенные. Иван побелел.



— Мать! — сказал он. — Мешка-то нет!

— Не может быть! — сердито возразила Татьяна. — Вы не разглядели спяну-то!

— Нет, сваха! — подтвердил Кузьма. — Нет мешка! Пошли еще раз вместе с Татьяной, она даже пошарила руками в саях, в соломе... Мешка, действительно, не было.

— Господи, твоя воля! — удивилась и напуталась Татьяна. — Ну, и народ пошел! Надо же так! Ни стыда, ни совести!

Кузьма разбушевался. Наконец, гости схлынули, уехали с песнями. Теперь одно страшно занимало Ивана: кто мешок слямзил? Ловко, ловко перехватил кто-то! Пять пудов ржи! Ничего себе!

На другой день он посмотрел внимательно на Татьяну, засмеялся и покрутил головой.

— Что за смех напал на тебя? — строго спросила она.

— Так. Ничего. С луком проехали... Чисто ты дело-то обделала!

— Какое дело? Чего ты городишь?!

— А кто же мешок-то прибрал к рукам?

— А я откуда знаю? А ты не болтай чего не надо-то, я из избы не выходила, плясала с Кузьмой все время!

— А я думал: ты!

— Ты думал!

Иван помолчал, глядя в окошко.

— Что-то жених-то больно уж того... Сидит вчера, посмотрел я... хлопает глазами, яшу разинул, сопит, как лошадь. Не знаю, как с ним Дуняшка жить-то будет!

— А она и не собиралась с ним жить-то!

— Как так?

— Так. Очень просто.

— А что ж они... приехали?

— Сватать приехали!

— Ну?

— Ну и все. Ты дал согласие, по рукам ударили. А ты спросил Дуняшку-то, согласна она?

Ничего не понимал Иван.

— Да как же так? Пстой, пстой...

Когда Сорокины узнали, что Дуняшка выходит за пастуха Трошку, Кузьма приехал к Ивану скандалить, требовал хлеб.

— Какой хлеб, иди ты ко всем чертям! — возмутился Иван. — Я его брал у тебя? Хлеб ему давай! Я те дам, не посмотри, что ты богатый! Дудочка чертова!

И вот опять сидит Иван за столом и, поставив локоть на угол и прижав ко лбу ладонь, думает каменную думу. Да, теперь не старые порядки, девки сами себе находят женихов, отец с матерью в стороне, но...

— Дуня! — сказал Иван. — Дело твое, а только... Как вы жить-то будете? Век ему ходить с кнутом! Отец-то всю жизнь пас овец и умер в поле около стада... А ты? В подпаски к Трошке пойдешь? Неужели не найдешь парня получше, у коего, все же, изба, лошадка, хоть плохонькая, соха, борона, все заведение?

Ничего не ответила Дуняшка на это.

И снова у Ивана полна изба, сбежались Дуняшкины тетки, узнав о столь легкомысленном ее решении. Кричали все враз, но каждая свое.

— Нищих плодить!

— Да лучше камень на шею — да в воду!

— Иван, а ты чего смотришь? Кнут бери! Такой парень сватает, Сорокин, пускай он немножко и не того, зато — жить!

Иван побледнел. Он не знал, что делать. По словам теток выходило, что дочь, по молодости, губит себя, а отец и пальцем не хочет шевельнуть для ее спасения. Хорош родимый батюшка! Вскочил Иван, схватил тот самый кнут, которым подбадривал лошаденку, дернул дочь за руку, хлестнул по юбкам... Но что этим сделаешь? Бросил в сердцах кнут на пол, погнал теток:

— Марш к чертям! Голову вы мне совсем закружили, хоть в петлю полезай!

На краю одного проулка стояла выморочная избушка с двумя окошечками. Вокруг ни кола ни двора, все заросло лебедой, полынью, лопухами, молочаем да крапивой. Летом ребятишки играли здесь днем и повыбили стекла, а по вечерам боялись подходить к избушке, а если и подходили осторожно, затаив дыхание, то вдруг все с ужасом бросались прочь.

— Батанá стонет!

Батанá — нищая старуха, хозяйка избушки, давно умершая.

Вот здесь-то и поселились после свадьбы Трошка с Дуняшкой.

В Сибирь ехать им было не на что.

— Погубил девчонку, прохвост! — негодовал Иван и так возненавидел зятя, что даже по имени не мог назвать его.

— Ну, — спрашивал он, когда приходила Дуняшка, — что дальше думает делать твой Ермошка?

— Какой Ермошка?

— Ну, Трошка, Тимошка, Ерошка, один пес, как ни назови! Если б не он, шельмец, жила бы ты теперь у Сорокиных честь честью, а это что ж оно вышло! И тебя жалко, и от людей совестно!

— А что он думает делать? — отвечала Дуняшка. — Опять коров найдется пасти.

— Хы! Коров пасти! А ты в подпаски к нему?

— А я в подпаски к нему!

Иван думал, что она шутит, но в конце апреля погнали по селу стадо коров Трошка с Дуняшкой, оба в лаптях, оба с кнутами, оба с дубинками!

Иван чуть не заплакал.

Коров было больше ста, за каждую получили осенью, когда полетели белые мухи, пуд ржи да полтинник деньгами, хорошо заработали, но Ивана это ни капельки не обрадовало. От пастушьего хлеба, казалось ему, пахнет нищенской сумой. Пойти в пастухи считалось крайней степенью падения, дном.

Избушку они починили, обшили тесом, выкрасили, вставили другие окошки, сделали крылечко — и она стала как игрушка. Зимой Трошка ничего не делал, купил Саратовскую гармошку с двумя колокольчиками, учился играть. Это казалось Ивану верхом легкомыслия. Дуняшка лен прядет, а Трошка на гармошке играет.

— Не крестьянин, нет! — горевал Иван. — Никакого стремления нет у него! Грешить не хочется, а то вырвать бы гармонь да гармоньей-то по башке, по башке! Правильно поют: у Трофима есть гармошка, а скотины одна кошка.

Одно удивляло и радовало Ивана: Дуняшка не горюет, не плачет, не считает свою жизнь загубленной, румяная, веселая! И в душе Ивана злоба на непутевого Трошку начала притухать. Иван услышал однажды, как Митька Сорочкин, пьяненький, грозился убить Трошку:

— Упью! Я его все равно упью!

Иван схватил Митьку за ухо, крепко оттрепал, приговаривая:

— Я те упью! Ишь, какие слова выражает, шельмец! Упью! Ты сначала говорить по-русски научись, черт сопатый!

После этого Иван уж просто полюбил своего зятя. Тем более, что Трошка бросил гармонь и всю зиму, днем и ночью до вторых петухов все читал какие-то книжки. И ребеночек родился у них, такой славный мальчик, Ванюшкой нарекли, Иван приходил подержать внука на руках, потюшкать.

— Какие же книги читаешь, Трофим Васильич? — спросил Иван.

— А всякие. Вот «Про землю, про волю, про рабочую долю». Очень интересная книга! Ну и другие.

И вот для всех, как гром среди ясного неба: Трошка поступил продавцом в сельский кооператив!

— Не может быть! Ты смеешься, Макар!

— Вот те крест! Я сегодня керосин покупал! Стоит за прилавком, брат ты мой, и карандаш за ухом, и на счетах — раз, раз!



- И на счетах может?
- Стало быть, может!

А года через два после этого Трошку избрали председателем сельского совета. Вот вам и Трошка! Не Трошка, а Трофим Васильевич идет по улице в светлых сапожках, с портфелем под мышкой, каждому встречному поклонится, сняв картуз и тряхнув белыми волосами. Гагарка, смешная бабенка, в лаптишках, идет, как пляшет, остановила его среди улицы и со слезами на глазах многословно излагает свою беду.

— Я вас слушаю, Катерина Петровна!

Катерина Петровна! Да ее никогда и никто не называл по имени-отчеству! Гагарка — и все! Вот вам и Трошка! Богатые сначала бурчали:

- Гремит гром не из тучи, а из навозной кучи!
- Шире, грязь, навоз ползет!

А потом притихли. Рты разинули, когда Трофим Васильевич заговорил на собрании так:

— Отсталая, аграрная страна! Мелкие распыленные хозяйства! Когда посадим крестьянина на трактор... Владимир Ильич Ленин...

И, наконец:

— Взять у кулаков хлебные излишки!

Вот вам и — «гремит гром не из тучи!» Из тучи загремел!

И полюбил Иван Фролович зятя, так полюбил, что готов был, как говорится, жизнь отдать за него. И отдал. Вот как это случилось.

В теплый апрельский день Иван, Матвей Грошев и Павел Дадашкин с вилами ходили по дворам богатых мужиков, искали ямы с хлебом. Пришли к тому Кузьме Сорокину, с которым Иван чуть не породнился. Копнули вилами в одном месте, копнули в другом... Попробуй, найди!

«А, шельмец!» — подумал Иван и, движимый каким-то чутьем, начал разбрасывать поленницу березовых дров.

— Павел! Матвей! — крикнул он. — Разбрасывайте дрова! Тут! Чует мое сердце! Тут!

В это время во двор вошел председатель сельсовета Трофим Васильевич в вышитой белой рубахе.

И вот когда разбросали поленницу и уже начали раскапывать так ловко замаскированную яму, из хлевушка выскочил Митька Сорокин с топором, одетый празднично, даже торжественно, вроде бы для венчанья, даже при галстукe, и розовый бумажный цветок был приколот к петлице.

Руки белые, топор поблескивает, пошел Митька на Трофима Васильевича — «Дуняшку отобрал, а теперь пришел хлеб отбирать!»

Иван вскрикнул, кинулся к зятю, и вышло так, что принял топор на себя.



АГАФОНИХА

I

Бабке Агафонихе не везёт. Конкуренция! Оттирают её от вагонов молодые торговки. Сегодня к трём поездом подбегала и всё зря. Хотя бы на хлеб, на конфетки наторговать. Разве Агафониха успеет за молодыми? И кричать, расхваливать свой товар она не умеет, хоть и старается.

Возьмёт двумя пальцами мокрый кривой огурец и через головы других торговок показывает пассажирам, поворачивает его то одним боком, то другим, соблазняет. Знает, кроме того, что и выражение лица у торговки должно быть привлекательное, и Агафониха изо всех сил пытается изобразить на своём тёмном, сморщенном личике эту самую привлекательность, но ничего не получается. Шешка Шароглазова — звонкоголосая, молодая, красивая, кровь с молоком, — и огурцы у неё нарасхват. А у Агафонихи рука костлявая, чёрная, жёсткая — не рука, а куриная лапка. Нет, не берут огурцы, как ни старается Агафониха!..

Бабка вздохнула, подумала, ждать ли ей следующего поезда или домой идти и решила идти. Знобит что-то, хорошо бы на печку залезть.

Проходя мимо сберегательной кассы, Агафониха по возможности ускоряет шаги и сгибается сильней. Робеет. Дело в том, что над крыльцом сберкассы прибита большая картина, а на картине изображена женщина в полинявшем платочке, призывающая всех, в том числе, значит, и Агафониху, хранить деньги в сберегательной кассе. И откуда только

узнали, как пронюхали, что у Агафонихи деньги есть? Вот он, чулок, на груди, на крепком гайтане, рядом с нателным крестом. Идёт, идёт бабка да пощупает: тут ли чулок? Тут! Тёпленький! И на душе теплее становится. Спокойно. Уютно. А женщина на картине... что-то не вызывает доверия. Смелая, как Стешка Шароглазова, которая так грубо отталкивает Агафониху от вагонов.

Спешит Агафониха в подшитых валенках, снег под ногами похрустывает, звенит и порою даже, вроде, повизгивает, как поросёнок. Идёт бабка и разговаривает сама с собой, думает вслух:

— Трудно, родные вы мои, копейку-то добывать. Трудно! А без неё нельзя, без копейки-то. Хлебушек возьми — копейка. Конфеточек возьми — копейка! А я их обожаю, конфеточки-то. С чайком. Обожаю, грешница! Пахнет от них!

II

На самом конце самой отдаленной улицы стоит в снегу... избушка — не избушка, а четырехугольная корзина, сплетённая из крупных кустов и обмазанная, ошлёпанная смесью глины с навозом. Единственное окошко так близко к земле, что летом его заслоняет трава, а зимой заносит снегом. Ветер пожалел хозяйку: поставил сугроб не перед окном, а шагах в трёх от него, чтобы не застит свет.

Нырнула Агафониха в избушку-норушку, дверь — на крючок и села к столу считать денежки да из чулка в сумочку перекладывает. До дрожи в коленках перепугал её недавно Захар Сидоркин, депутат городского Совета. Агафониха голосовала за него, он за добро чем платит?

— Все маракуешь, Ненила Агафоновна? Денег, поди, полный чулок накопила?

Бабка так и похолодела вся. Откуда ведомо Захару, что сберегательная касса у неё в чулке? Неужели подглядел в окошко, когда она вот так же пересчитывала? Очень даже просто. Он хитрый.

— Придётся раскулачить тебя! — сказал Захар. Насмешник! Конечно, он шутит, но нехорошо шутит, совсем нехорошо, не надо бы так!

Разглаживает Агафониха скомканные бумажки, складывает рубли к рублям, тройки к тройкам и думает о том, что хранить деньги в чулке выгодно, удобно, надежно. Ой, кто это опять в окошко заглядывает, холера бы его забрала? Страбастала деньги, прижала их к животу и согнулась в три погибели.

— О-ей! — криком кричит, умирает. — Смёртынь-ка моя пришла!..

И всё зря, напрасно комедию разыграла: полынь заглядывает в окошко, чёрная сухая полынь. Ветер клонит её, она и заглядывает, покажется и опять спрячется. Занавесила бабка старым платком верхнюю часть окошка: хоть полынь, а всё равно страшно. Пожалуй, и полынь прощумит кому-нибудь, что Агафониха богатая, шельма!

Считает Агафониха, а сама думает о том, что надо взять мешок да веник-голик, на базарной площади сенца наскрести для козы. Вчера был базар, лошади ели сено и насорили около саней. Потом надо сходить с ведёрком на станцию, пособирать уголь возле эстакады, где паровозы топливом заправляются. Вот беда: говорят, к весне электровозы пойдут, а им, будто бы, уголь не нужен, у них колеса на электричестве вертятся. Угольный склад закроют, чем тогда будет Агафониха отапливаться? Дровами не натопишь, дрова — пых! — и нету их, а уголёк-то долго в печке горит, сам чёрный, а распускается разными цветами — голубыми, малиновыми, жёлтыми — зимой лето в печке!

А потом надо сходить в столовую пообедать. Питается Агафониха бесплатно. Подхваченный-то кусочек слаще купленного. В столовой она стоит возле дверного косяка с протянутой рукой, но рука протянута чуть-чуть, робко... нет, и не протянута даже, а прижата к груди, только ладонь развёрнута и выдается вроде балкончика.

Смотришь, иной человек, покушал и, выходя из столовой, положит на этот балкончик денежку. Агафониха, расстроганная до глубины души, крестится, обращаясь к его спине и затылку и желает ему и его деткам доброго здоровья и счастья. А иной, похлопав себя по карманам, скажет:

— Нет, бабушка! Денег нет!

— Дай бог, чтоб были, деточка! Дай бог! — отвечает она. А сама тем временем присматривается к обедающим. Вот сидят за столом трое, всего, всего набрали — от них много останется! Не зевай, бабка! И верно: поднялись, уходят, щей почти полная тарелка осталась, каша с маслом, хлеб на тарелке ломтиками. Быстро-быстро, пока официантка не убрала, — Агафониха уже за столом, кушает. Хорошо, только почему-то страшно, словно ворует. Сжалась вся, ни живая, ни мёртвая. Вот сейчас крикнет кто-то:

— Что ты делаешь, старая?! Марш отсюда!

Знает, что этого не случится, никто не обидит старушку, ешь, не жалко, а всё же боится.

«Копейка-то! — считает да шепчет Агафониха. — Копейку-то береги! Копи, оттого и называется: копейка! С копейкой-то меня хоть кто примет, ноги будут мыть и воду пить! За копейку-то!..»

Захрустел снег за стенкой, дернули дверь, лязгнул крючок. Господи, спаси и помилуй, кто это? Не Захар ли? Нет, почтальонка. Раскраснелась на морозе, скособочилась от тяжелой кожаной сумки, начинённой письмами, газетами и журналами. Ни газет, ни журналов Агафониха не выписывает. Принесли пенсию. Деньги к деньгам! Эко, господи, как хорошо ты устроил всё на свете! Не забывают, что на Советской улице, на самом краю, живет одинокая старушка, что ей нужна копейка. Каждый месяц приносят!

Да, хватило бы ей, она не спорит, но пока глаза видят, а ноги ходят, не может сидеть без дела, ей хочется вынюхивать, искать, находить, подбирать, добывать, запасать, прятать, завязывать, зашивать, закапывать, завертывать, заматывать, упаковывать.

Овдовела Агафониха в двадцать четвертом году, в расцвет нэпа, и твёрдо решила: духом не падать! Винишко держала. Ночью загуляют мужики, а кооперация закрыта — куда? К Агафонихе! И, дело прошлое, краденое принимала. Хотя какое краденое? Кулацкий сынок в своем же амбаре, от отца украдкой, насыплет ночью мешок зерна и — к Агафонихе. Раздышалась деньжонками и осуществила свою заветную мечту: открыла бакалейную лавочку, чуланчик тесный оборудовала для этой цели. Вывеску прибила. На вывеске крендель нарисован, а слов никаких не было. Крендель — и всё, и всем понятно, что тут такое. Над прилавком висели весы с тарелками на цепочках, на прилавке стояли рядом гири, как куклы: большая, поменьше, еще поменьше, еще меньше и, наконец, совсем крошечная, с наперсток. Любила Агафониха слово «бакалея», пахло от него копченой рыбой, конфетами, мятными пряниками. С наслаждением пересчитывала она медную и серебряную выручку, перекладывала товар из одного ящика в другой, перевешивала — сама себе ревизию делала, остатки снимала.

Ещё не старой была Агафониха в ту пору, любила наряжаться, и женихи находились, три вдовца сватали — не пошла на чужих детей. Ну их! Одной-то больно уж хорошо, спокойно. Началась коллективизация — Агафониха закрыла лавочку, ушла со своим товаром в подполье. А в колхоз ни за какие блага записываться не согласилась: был слух, что на всех колхозников печати будут ставить, а печать от анчихриста...

Закрыв сани, ползёт по дороге воз зелёного сена, колхозник в тулупе сидит наверху и не видит, что большой клочок отделился от воза, не захотел ехать дальше — это ли не господь послал Агафонихе? Выскочила, всё до единой сенинки подобрала — козе на неделю хватит. А говорят: бога нет! Есть! А сенцо-то какое! Мелкое, лесное, с листочками, с ягодником, хоть чай заваривай!

Одно плохо: звенит, звенит в ушах, бубенцы разливаются: дзинь, дзинь, дзинь! Или это на улице, в телефонном столбе? Ветер плачет, хнычет в печной трубе, словно его побили, обидели; подушка около трубы — и в подушке что-то пищит, стонет.

Два дня лежала на печи Агафониха, никуда не выходила, печь не топила, ничего не варила. Всю одежонку на себя натянула, скорчилась в три погибели. Ах, как сладостно ноют все косточки! А один раз, ночью, в трубе так явственно пропели церковные голоса «Вечную память»!

А тело-то, тело-то как чешется! И не помнит Агафониха, когда в бане была последний раз. А как пойдёшь в баню? Если деньги оставить дома — душа болит, сердце не на месте. Мойся, а сама думай, это уж не мытьё. Войдёт кто-нибудь без неё в избушку и найдёт деньги! По запаху найдёт: деньги-то пахнут. С собой взять, в баню? Опять нельзя. Оставишь в предбаннике, в одежде — банщица украдёт. Мыться с ними? Смеяться будут, на шее у старухи сумочка висит, тут и дураку понятно, в чём дело. Да и замочишь. Ох, ох! И без денег плохо, и с деньгами не совсем хорошо.

А пожить-то как хочется! До весны бы ещё разок дожить! Тепло будет, травка выскочит, бабочки полетят, пчёлы, козявочки всякие-разные побегут по земле и по травинкам. Вскопает Агафониха огород, наделает грядок, посеет моркови, огурцов, подсолнухов. Курочки с петушком выйдут на улицу, разговору-то сколько будет у них, речей-то! А петушок взлетит на плетень, похлопает крыльями и пропоёт звонко, длинно, радостно, оповестит весь мир, всю округу, что пришла весна-красна! А рядом, в берёзовом колке, кукушечка закукует, скажет, сколько годков Агафонихе жить.

III

Пришла Марина, соседка.

— Агафониха, ты жива ли? Никуда не выходишь, смотрю. И дверь снегом завалило, насилу откопала. Мама говорит: сходи, проведай, не заболела ли?

Прижала холодную ладонь к горячему лобику Агафонихи.

— Жар!

Принесла Марина воды, дров, затопила печку, вскипятила чайник, заварила душицей, падала на печь в кружке.

— Ой, спасибо, родная! Вот спасибо-то! А в мыслях наметила Агафониха:

«Почую смертный час — откажу ей всё. Панихиду отслужит, поминать будет. На могиле велю оградку сделать, шиповник посадить. Буду я лежать во сырой земле, а надо мной шиповник расцветёт алыми цветочками, птичка сядет — цыр-цыр-цыр!.. Откажу! Пускай пользуется, деньги к деньгам. Не с собой же брать. Господь осерчает, скажет: что это ты, раба Ненила, с деньгами предстала, сердешная, али здесь магазины у меня, на небеси-то? Рехнулась старая!»

Маринке отец большую сумму оставил, говорят. Аким-то. Крепкий был старик. Работал на угольном складе и оплошал: попал под вагон ночным делом. Пустяком отбоярился, одно ребро, что ли, повредил. А суд присудил: помногу в месяц платил угольный склад Акиму до самой смерти. Аким и зажил. Ходил нарядный, гармонь купил на старости лет. Стариком или дедом не называй, не любил, по имени-отчеству величай. А сад какой развёл за двором! Родным говорил:

— Помру — на похоронах не плачьте, не горюйте, а веселитесь, песни пойте, пляшите; я хорошо пожил!

Помер на ногах, в одночасье. Как наказывал, так и делали: вернувшись с кладбища, вино пили, пели, плясали, столы на двор вынесли, гармонь до полночи ревела. В гроб ему яблочк краснобоких положили и вина бутылку: так сам наказывал. Яблочки — другое дело, яблоки и в райских садах растут, а с деньгами нельзя на тот свет являться.

— Маринка... ты... слушай-ка, Маринка! Ежели я... неровен час... все под богом ходим... Ежели...

И не договорила. Страшно! Ой, держись, Агафониха, слово — не воробей! А вдруг не умрёшь, а тайну выдашь?

«Погожу. Там видно будет».

— Ты что, бабка? Ты чего-то сказать хотела?

— Нет, ничего. Так я. Подушку поправь. Про это я и хотела сказать. Чайком напоила ты меня, так и пошло тепло по сердцу, так и разлилось, дай бог тебе здоровья.

«Или отдать? А если не помру, на ноги встану — она не обидит, вернёт всю сумму, женщина совестливая».

— Маринка... на! Пятнадцать сотен тут! Присматривай за мной пока, а когда призовет меня господь...

Агафониха, опираясь локтем на подушку, приподнялась, и... что за наваждение! Не Маринка слушает ее, а Захар Сидоркин. В чёрной железнодорожной шинели с блестящими пуговицами, и усы такие же чёрные, как шинель. Шинель шили, остались обрезки — из них усы сделали. Вот кому передала Агафониха сумочку с деньгами!

— Вот видишь! — говорит Захар. — А нищенствуешь, в хлебном магазине стоишь с сумкой, куски продаёшь Дарье для кабанчика! Я ведь всё знаю! Нехорошо, Ненила Агафоновна, довольно совестно так делать! И деньги, опять же, хранишь дома, а не в сберегательной кассе. Не доверяешь, стало быть, государству?

Сгорела. От стыда сгорела Агафониха, нет её, один пепел остался. Дунь — и пепел разлетится! Эко влопалась!

— Придётся раскулачивать! — говорит Захар и тяжело вздыхает.

Шутит. Слава богу, не рассердился.

Ушёл. Агафонихе ясно, что он принял какое-то решение. А деньги? Деньги — тут они, положил на печку. Опять тихо, нет никого, только ветер плачет и в трубе, и в подушке, под самым ухом. Два таракана остановились на бабкиной руке, озабоченно шевелят усами, думают. Один другому говорит: «Плохо наше дело, если умрёт. Замерзнем!..»

Нет, не умерла Агафониха.

Наступила весна, летают над двором, над теплой землёй красные и белые бабочки, вылезли на свет божий лопухи, крапива, лебеда — изнанка у листочков малиновая. Вышла бабка на улицу, села на завалинку. Солнышко соскучилось об Агафонихе, давненько не видало её, обрадовалось, что она жива, так и улыбнулось, окатило старуху теплом и светом.

Подъехала голубая машина, из машины вышел Захар Сидоркин.

— Собирайся, Агафониха. Не мешкай, некогда мне. Бери с собой... что ты с собой возьмёшь? Больше сюда не приедешь!

Захолонуло под сердцем. Куда её?

— В рай!

Насмешник! Разве живых в рай возят?

Козу, кур с петухом и всё недвижимое имущество поручила Марине.

Никогда не ездила Агафониха в машине. Хорошо! Смеяться хочется. Щекотно вроде. Но куда же везут её? Не должны обидеть старуху при советской власти!

Вот и городок остался позади, пыльная дорога вьётся среди зелёных полей, и радостно Агафонихе глядеть на молодые хлеба, на берёзы в новых платяницах. Но куда же, куда же везут её? Закачало, заснула, и видит сон: умерла она. Умерла и ведёт её архангел Гавриил ко господу. Надо бы только душу вести, а получается непонятно: всю Агафониху, в полном составе ведёт архангел, и даже сухой черёмуховый посошок при ней, в руке. «Знать, Маринка в гроб положила», — догадалась Агафониха.

Архангел в белом, как доктор, и сияние исходит от него. Спрашивает:

— Что там, на земле у вас, Агафоновна? Посевную кампанию закончили?

— Закончили, архангел Гавриил. И пшеничка, и гречка — всё взошло дружно, сейчас мимо ехали, я глядела.

— Что там у вас теперь: лектровозы пошли?

— Лектровозы, лектровозы, архангел Гавриил! Пошли, пошли!

— Лучше паровозов-то?

— Лучше, лучше! Не курят, не орут! — кривила душой Агафониха, не сказала, что электровозы оставили её без угля, на одних дровах.

— Значит, всходы дружные, говоришь? Надо сказать Илье-пророку, чтобы полил. Илья-пророк! — обратился архангел к старику с белой бородой и в белой длинной рубахе. Едет Илья-пророк в бричке с пустой бочкой, конь рыжий, упитанный.

— Знаю, знаю! — сердито ответил Илья пророк. — Господь говорил уже! Видишь: еду! Ты, архангел, завсегда не в свои дела нос суёшь, не люблю я тебя за это. Указчиков больно много развелось тут за последнее время!

— И огороды полей, Илья-пророк!

— Тьфу! Слушать тошно! Ну, неужели, архангел, я, значит, поля буду поливать, а огороды пропущу? Я не без головы! Всё полью, не только овощ, а и полынь, и крапиву, всю растению!

«Дивно! — подумала Агафониха. — Святые, а тоже ссоры да раздоры, как и у нас, грешных!»

Илья-пророк хлестнул коня кнутом и поехал рысью, пустая бочка гулко загремела. Гром!

— Агафониха? — спрашивает господь. Сидит он, ба-тюшка, на золотой скамеечке, сам в голубом одеянии, боро-душка сивенькая и вроде бы из облачка сделана.

— Так точно, вседержитель земли и неба! — отвечает архангел. — Агафониха, жила на Советской улице!

— На какой, на какой?

— На Советской, вседержитель!

— Ая-яй! И не совестно тебе, раба Ненила? Сладкое обожала?

— Грешница, господи! — созналась бабка и, не выпуская из руки палку, повалилась господа в ноги.

Архангел Гавриил полистал записную книжечку.

— Ежедень покупала пятьдесят граммов конфет, вседержитель!

Агафони́ха заплакала.

— Во ад! — вынес решение вседержитель. — Во ад её, архангел, передать сатане, она великая грешница, сластница, и подсчитать, подвести итог, сколько конфет, она поела, столько же горячих угольков скормить ей!

— Слушаюсь, вседержитель! — сказал архангел. Затряслась Агафони́ха и просить о помиловании не посмела, язык омертвел.

Повёл её в ад архангел Гавриил, в огонь вечный, мимо рая идут. А в раю-то цветы, все цветы, птички поют — цыр-цыр-цыр! Старушки и старички, которые сподобились, постом спасались, не сластничали, сидят на скамеечках да беседуют мирно, и все в новых лаптях. А что, если архангелу отдать сумочку с деньгами? А? Сумочка... вот она, на груди!

— Архангел Гавриил, — громко и хрипло зашептала Агафони́ха. — Держи-ка!..

— Что такое? Агафони́ха? — тоже шепотом спросил архангел Гавриил, уже догадываясь, в чём дело.

— Пятнадцать сотен тут!

— Тсс! — напугался архангел. — Новыми?

— Новыми, архангел Гавриил, а какими же?

— Ладно, так и быть! Беги скорей! Сядь вон там, на скамеечке! Скажу вседержителю, что во ад отвёл тебя, мамаш! А он недокумекает, не до тебя ему!..

— Мамаш! — будили Агафони́ху. — Вставай, мамаша, приехали! Куда приехали? В рай...

Глядит Агафони́ха, ничего не может понять. Цветы, все цветы вокруг, птички поют — цыр-цыр-цыр! Дорожки песочком посыпаны, а старички и старушки на скамеечках сидят, беседуют мирно. А рядом — длинный-предлинный сосновый дом, бревна жёлтые, светлые, как солнышко, а направо — капустные грядки, а за ними — тайга стеной стоит.

Повели Агафониху в баню.

— Господи! — ужаснулась бойкая старушка в белом халате. — Да ты, родимая, в бане-то была хоть раз в жизни? Где тебя выкопали такую!

Хихикнула Агафониха, совестно стало.

В глубокое каменное корыто с горячей водой посадили её, мыли, мыли, тёрли, тёрли вехоткой, потом под горячий дождик ставили — ух, хорошо! Рай!

Мохнатым полотенцем вытерли, беленькую рубашечку надели, принесли платье новое, пестренькое и тапочки. В столовую повели, суп молочный подали, кашку манную, а потом стакан сладкого жидкого с ягодками на дне — вот это больно уж по душе, сладкое любит она, грешница! На столах белые скатерти и цветы в горшочках.

— Покушала, бабушка?

— Покушала, родные вы мои, дай бог вам доброго здоровья, так покушала, что просто и-и-и!

— А теперь пойдём со мной, — сказала та самая бойкая старушка в белом халате, — я укажу тебе комнату, где ты будешь жить. Отдыхай! Вот у нас Красный уголок, вот газеты, журналы... Неграмотная? И в шахматы не умеешь играть? Ну, в садочек сходи, погуляй. А если есть сила да охота, можешь грядки пополоть с огородницами, чтоб не скушно было. Вот твоя коечка!

Одеяло мягкое, пушистое, тёплое, как кошка. Две простыни. И ложиться-то боязно на такую постель, жалко комкать. Но — легла, улыбнулась, да так и заснула с улыбкой. На этот раз приснилась ей избушка, в подполье кадучечка с солеными огурцами, в печурке коробочка с нитками, пуговицами, иголками, булавками и крючками...

А через три дня, рано утром, поднялся в Доме для престарелых переполох. Новенькая исчезла!

— Какая новенькая?

— Да которую в пятницу привезли! Агафоновна!

Туда-сюда — нет! И след простыл! Поехали к ней в избушку — и там нет. Нет, а по всем признакам, была она

здесь недавно. Печка протоплена, на шестке чугунок с вареной картошкой, мелкой-мелкой. Спросили у соседей. Марина рассказала:

— Вчера она с огурцами ходила на станцию, к поезду, а сегодня ушла куда-то с корзинкой. В столовую загляните, не там ли?..

Агафониха была там. Она стояла у дверного косяка, прижав руку ко груди и выставив ладонь балкончиком. В корзинке у неё было два куса белого хлеба и два пряника.



БИБЛИОГРАФИЯ

- «За честь родинь». Сборник. Новосибирск, 1941 год.
- «В СТЕПАНОВКЕ». Повесть. — «Сибирские огни», 1942 года.
- «КИСЕЛЬНЫЕ БЕРЕГА». Поэма. — «Октябрь», № 4, страницы 65–89; № 5, страницы 109–130, 1960 года.
- «ПОВОРОТ». — «СУДЬБА СЕРПА». — «ДОРОГА». Стихи. — «Октябрь», № 8, страницы 153–155, 1960 года.
- «КИСЕЛЬНЫЕ БЕРЕГА». Повесть в стихах. Москва, «Советская Россия», 1961 год.
- «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ». Стихи. — «Советская Сибирь», 16 октября 1960 года.
- «НОВЫЙ ДОМ». — «СУДЬБА СЕРПА». Стихи. — «Вечерний Новосибирск», 7 октября 1961 года.
- «СИБИРСКАЯ ПОЭМА». — «Сибирские огни», № 10, страницы 151–154, 1961 года.
- «СИБИРСКАЯ ПОЭМА». (Поэмы и стихи). Новосибирск, Новосибирское книжное издательство, 1962 год. (Поэмы: Кисельные берега», «Сибирская поэма». Стихи: «Судьба серпа», «Дорога», «Полевые птички», «Весеннее», «На сенокосе», «В светлой зелени древесной...», «Воробьиная память», «То ли дело — лёд колоть!», «Путевой обходчик»).
- «ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА». Рассказы. Новосибирск, Новосибирское книжное издательство, 1963 год (Рассказы: «Чёрная смородина», «Зелёное захоlustье»).
- «СУДЬБА СЕРПА». Стихи и поэмы. Новосибирск, Западно-Сибирское книжное издательство, 1967 год. (1: «Март», «Судьба серпа», «Дорога», «Говорит Луна!», «Пастуший рожок», «Апрель», «Набросали хлебных крох...», «В свежей зелени древесной...», «На сенокосе», «Проснулся я. Темным-темно...», «Поворот», «Путевой обходчик», «Листаю жёлтые страницы...», «Полевые птички», «Жизнь подходит к концу...», «Не спится. Подвожу итоги...», «Воробьиная память», «То ли дело — лёд колоть!». 2: «Кисельные берега». Поэма, «Как учился Иван Коркин». 3: «Вдова». Новелла, «Ты был солдат, ты пал в бою...», «Сибирская поэма»).
- «РАЗНОТРАВЬЕ». Новосибирск, Западно-Сибирское книжное издательство, 1968 год (Предисловие Ивана Матвеевича Ветлугина



(Иост)»Об авторе и его книге». Повесть: «В Степановке»; рассказы: «Зелёное захоlustье», «Чёрная смородина», «Агафониха»).

«ГЛАШАТАЙ ПРАВДЫ ГНЕВНОЙ, ГОРЬКОЙ...» — День поэзии. Сборник стихов. Новосибирск, Западно-Сибирское книжное издательство, 1968 год.

«ПОВОРОТ», «АПРЕЛЬ», «ЛИСТАЮ ЖЁЛТЫЕ СТРАНИЦЫ...» — Суровый край России. Стихи. Новосибирск, Западно-Сибирское книжное издательство, 1969 год, страницы 79–81.

«ОСИНОВЫЙ КОЛ». Новосибирск, Западно-Сибирское книжное издательство, 1972 год (Рассказы: «Осиновый кол», «Малиновый сарафан», «Агафониха», «Чёрная смородина»).

«СТИХОТВОРЕНИЯ». «Библиотека Сибирской поэзии». Новосибирск, Западно-Сибирское книжное издательство, 1974 год. (Вступительная статья А. Ключевского «Вот стихи, а всё понятно...»). Стихотворения: «Стоят железные морозы...», «Сели под окошки...», «Ночь. Мороз. И тихо, тихо!..», «Поворот», «В эту зимнюю ночь...», «Март», «Апрель», «Цветёт черёмуха», «Жизнь подходит к концу...», «Проснулся я. Темным-темно...», «Летний дождь протопал...», «Стелет ночь по дорогам...», «Я стану горсточкой земли...», «Пастуший рожок», «Наплывает вечер на Болотное...», «От зари и до зари», «На сенокосе», «Ветер спит. Отдыхает. Устал...», «Что такое бабье лето?...», «Летят оранжевые листья...», «Раз пятнадцать менялась погода...», «Насушилась осень сырая...», «Листаю жёлтые страницы...», «Окрепшие скворчата...». Кисельные берега: «Сибирская поэма», «Кисельные берега». Поэма).

«ДЕРЕВЕНСКИЕ РАССКАЗЫ». Рассказы и повесть. Новосибирск, Западно-Сибирское книжное издательство, 1978 год. (Вступительная статья Александра Ивановича Плитченко «Отечество слова». ОСИНОВЫЙ КОЛ. Рассказы: «Осиновый кол», «Малиновый сарафан», «Кум», «Под колесом», «Чёрная смородина», «Агафониха», «Зелёное захоlustье». Повесть: «В Степановке»).

«КАК Я БЫЛ У ТВАРДОВСКОГО». — Воспоминания об А. Твардовском. Сборник. Москва, «Советский писатель», 1978 год, страницы 282–286.

«ДЕРЕВЕНСКИЕ РАССКАЗЫ». Рассказы и повесть. Новосибирск, Западно-Сибирское книжное издательство, 1983 год, 320 страниц, иллюстрации. (Вступительная статья Александра Ивановича Плитченко «Жизнь изречённая». ОСИНОВЫЙ КОЛ. Рассказы: «Осиновый кол», «Малиновый сарафан», «Кум», «Под колесом», «Чёрная смородина», «Агафониха», «Зелёное захоlustье». Повесть: «В Степановке»).



СОДЕРЖАНИЕ

Тамара Хомченко. Певец земли сибирской. 5

ПОЭЗИЯ

С т и х и

«Стоят железные морозы...»	20
«Сели под окошки синие синицы...»	20
«Ночь. Мороз. и тихо, тихо!..»	21
Поворот	22
Приснилось	23
Март	23
Апрель	24
Цветет черемуха	25
«Жизнь подходит к концу...»	26
«Проснулся я. Темным-темно...»	27
«Летний дождь протопал...»	27
«Стелет ночь по дорогам...»	28
«Я стану госточкой земли...»	28
Пастуший рожок	29
Наплывает вечер на Болотное	29
От зари и до другой зари	30
На сенокосе	31
«Ветер спит. Отдыхает. Устал...»	32
Что такое бабье лето?	32
«Летят оранжевые листья...»	33



«Раз пятнадцать менялась погода...»	34
«Насупилась осень сырая...»	35
«Окрепшие скворчата повыезли на свет...»	35
Мы любим Болотное-город	36
Летнее утро в Болотном	37
Пейзаж за Болотным.....	38
Ответ на вопросы	39
Хитрые проныры.....	40
Подвожу итоги	40
Полевые птички.....	41
Путевой обходчик	42
«В свежей зелени древесной...»	44
«Алый гриб стоит, как чашка...»	44
«В Сибири мало ли чудес?..»	45
«Как не совестно Маринке!..»	45
«Набросали хлебных крох..»	46
Городские четверостишия	46

П о э м ы

Сибирская поэма	47
Кисельные берега	62

ПРОЗА

В Степановке.....	144
Зелёное захолустье.....	202
Черная смородина	223
Осиновый кол.....	265
Агафониха	311
Библиография.....	324

Михаил Кубышкин

АГАФОНИХА

С т и х и и п р о з а

Редактор *Александров Н.*
Корректор *Михайлова Е.*
Обложка *Васильева Е.*
Художник *Зайцев Е.*
Верстка *Вялкова О.*

Подписано в печать 13.01.2020 г. Формат 60x84/16.

Издательский Дом «Историческое наследие Сибири»
тел. 8 (383) 292-00-42, моб. 8-913-917-29-28
630091, г. Новосибирск, ул. Мичурина, 19, оф. 11
e-mail: id-ins@ngs.ru, www.sibnasledie.ru

Отпечатано в типографии «Деал»
630033, г. Новосибирск, ул. Брюллова, 6а.
Тел./факс: (383) 334-02-70, e-mail: zakaz@dealprint.ru



Книжная серия Болотнинских авторов

Дорогие друзья!

Наша серия представляет уникальное явление земли Болотнинской, которая подарила необычайно талантливых и самобытных авторов

